

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

До и После 8

Берлин • 2004



Литературный альманах

До
и
После

8



ИТК

БЕРЛИН 2004



Руководитель проекта
Иосиф Варди

Редакционная коллегия:
Леонид Бердичевский (гл. редактор)
Марлен Глинкин (проза)
Генриетта Ляховицкая (поэзия)
Альфред Ходорковский (публицистика)
Давид Яновский (переводы)

Общественный совет:
Карл Абрагам
Екатерина Гескина
Марк Шейнбаум

В оформлении обложки
использованы работы
Э.М.Лилиена

Все произведения, представленные
в альманахе, опубликованы впервые

Права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка на альманах обязательна

ISBN 5-891-39-02

Берлин 2004

DE MORTUIS

Два года назад умер выдающийся писатель XX века Фридрих Наумович Горенштейн. Последние двадцать лет он прожил в Берлине. Отдавая дань памяти покойного писателя, с благодарностью принимая любезное предложение его сына Дана Горенштейна, предоставившего альманаху ранее не публиковавшееся эссе отца «Тайна, покрытая лаком», мы предлагаем его читателю.

Вслед за эссе Ф.Н.Горенштейна публикуем главу из книги Мины Полянской «Я – писатель незаконный...» (Записки и размышления о судьбе и творчестве Ф.Горенштейна).

Редколлегия альманаха.

ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ

*О предке А.С.Пушкина А.П.Ганнибале
с материализацией духов и раздачей слонов.*

Пушкин, Лермонтов и Толстой поехали кататься на лодке.

Пушкин говорит: “Кто выругается, с того рубль”

Конечно, сам первый и выругался.

– Какая гладь, ... мать!

Лермонтов тут же:

– Какая тишь, ... мышь!

А Толстой говорит: “По рубчику, по рубчику, ... вашу мать!

Народный анекдот

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

А.С.Пушкин

Я понимаю, что всякая наука, также и пушкиноведение, дело серьезное и требует к себе серьезного отношения. Я, конечно, не пушкиновед. Обыкновенный любитель сочинений А.С.Пушкина, также его идей, мыслей, чувств, которые принимаю умом и сердцем. Конечно, не сплошь и не вслепую. Принимаю и то, что сказано о Пушкине, хоть также не сплошь и не вслепую. А, например, очерк Ф.М.Достоевского “Пушкин”, произнесенный в виде речи 8 июня 1880 года в обществе Любителей российской словесности, вовсе не принимаю. Она, эта речь, на мой взгляд, антипушкинская. Достоевский навязывает Пушкину свои, чуждые Пушкину взгляды и по-своему, антипушкински толкует образы Пушкина. В частности, резко отрицательно как отрицательный персонаж Евгения Онегина, и есть намеки, что нигилист Онегин – некое предвидение Бесов. Речь, как сказано, вызвала восхищение слушателей, подношение Достоевскому венка и избрание почетным членом общества. Но известно также, что на следующий день, еще раз вдумчиво ознакомившись с очерком, иные как бы опомнились: чем же мы восхищались? Ведь тут много чуждого нам и нашему представлению о Пушкине.

Конечно, многое в таких случаях зависит от массового пафоса. “Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа”, – сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое”, – так начал Достоевский. Естественно, вдохновил, и далее уже слушали вдохновенно. Во вдохновении есть же

нечто мистическое, крылья за спиной, нечто неземное, воспаряющее духом. “Не продается вдохновение”, – сказал Пушкин. “Но рукопись, – опять же сказал Пушкин, – продать можно”, т.е. при взаимоотношении с рукописью больше земной трезвости. А трезвость и отсутствие преклонения необходимы при общении также и с великими рукописями, великими книгами, великими личностями. С ними, может быть, особо, если хочешь проникнуть в суть и при этом не быть подавленным чужим, пусть и великим именем. Почитайте Пушкина. Любите Пушкина, но не разбивайте при этом лоб, как перед зацелованной иконой. Пушкина это, пожалуй, даже рассердило бы. Однажды в дом Пушкина явилась некая депутация: “Мы пришли посмотреть на нашего гения, на нашего великого поэта”. Пушкин встретил их с бокалом красного вина в одной руке и бутербродом с икрой в другой.

– Посмотрели, – сказал Пушкин, – теперь до свидания. Из вежливости так сказал, ибо думаю, нового свидания с этими людьми никак не желал.

Быль, похожая на анекдот, или анекдот, похожий на быль.

Там, где отсутствует ясность, там присутствует анекдот. Это относится и к истории общества и к истории человека. Но когда речь идет о человеке Пушкине, то также и анекдоты особенно ценны. Хотя смотря какие. Есть анекдоты остроумные, а есть анекдоты остроунеумные, которые тем не менее смешны своей неумностью, чтобы не сказать туповатостью. Особенно много таковых среди исторических анекдотов – поди проверь! Анекдоты в переводе с греческого – неизданные. Анекдотами византийский историк Прокопий называет, в противоположность официальной истории, секретную историю, содержащую скандальные рассказы о разных придворных тайнах, в смысле интересных случаев с историческими лицами и вообще юмористические происшествия. В науке, особенно исторической, такие анекдоты нередко называют гипотезами, т.е. научно обоснованными предположениями, выдвигаемыми для объяснения каких-либо явлений и требующими проверки на опыте и подтверждения фактами, для того чтобы стать достоверной теорией. Впрочем, гипотезы, как и анекдоты, бывают разные. Если возьмем первооснову, т.е. происхождение Земли, есть гипотеза, по которой Земля вместе со всей солнечной системой образовалась в результате некоего космического взрыва, а есть гипотеза, по которой земля покоится на трех китах, вариант – на трех слонах. И в первом и во втором случае – это гипотезы. А какая из них более верна, требует, на мой взгляд, опыта Шерлока Холмса, т.е. без логики и без дедуктивного метода не обойтись. И вот, почти одновременно, я, отнюдь не пушкинист, обычный любитель, ознакомился с двумя

противоположными гипотезами о происхождении А.П.Ганнибала, предка Пушкина по материнской линии.

По первой гипотезе, впрочем и ранее мне известной, хоть в подробности не вникал, Ганнибал, т.е. Пушкин по материнской линии эфиоп, вариант – негр, попавший в рабство и привезенный в Турцию. По другой гипотезе Ганнибал, т.е. Пушкин – караим, т.е. еврей из секты караимов (книжников), секты, не признающей раввинов, а только святыя книги. Секта эта появилась в Приазовье еще при хазарах в VII-X веках. От себя добавлю, что еврейское племя Раша появилось на юге, т.е. в Крыму, еще в I веке при римлянах и, если апостол Андрей действительно приходил крестить, то в первую очередь, согласно указанию Христа апостолам, он приходил к еврейским отщепенцам, т.е. к Раша. Но это так, к слову, и это особая тема. Хочу лишь сказать, что семитско-еврейский элемент, к которому антрополог Дмитрий Николаевич Анучин относит Пушкина, не обязательно надо было искать в далекой Эфиопии, как это делал Дмитрий Николаевич. Семитско-еврейский элемент издавна существовал на юге нынешнего обитания восточных славян еще задолго до обитания там славян, хотя бы потому, что славян тогда в I веке вообще не существовало. Но это, повторяю, особая тема. Если же вернуться к караимам, то они обитали в пределах Турецкой, Османской империи, так что по этой караимской гипотезе происхождения Ганнибала, т.е. Пушкина, можно избежать по крайней мере части исторических анекдотов, особенно нелепых и надуманных, ибо в таком случае Ганнибала никто не похищал и не привозил в Турцию, поскольку в качестве обычного турецкого еврея, не слишком, правда, знатного, он в Турции жил. Обе гипотезы, конечно, находятся в неравном положении. Первая, африканская – эфиопская, вариант – негритянская почти уже не гипотеза, – теория. Тома книг за ней, столетия за ней. Сам Ганнибал Абрам Петрович за ней стоит, более того, ее основатель. И уж совсем, казалось бы, неоспоримо – сам Александр Сергеевич Пушкин с мосьё Онегиным стоят. В “Евгении Онегине”:

“Из под полуденных земель
Под небом Африки моей”

Также и в романе “Арап Петра Великого”, также остро полемическая “Моя родословная”, стихотворная перепалка с недоброжелателями типа Булгарина. Но... Но не даром же Пушкин сказал: “Господи, сохрани меня от друзей. С врагами я сам справлюсь”. Пророчески сказал. Как известно, Анна Андреевна Ахматова, изучая пушкинские материалы, пришла к выводу, что именно друзья погубили Пушкина. Я думаю, что и поныне иные “друзья” Пушкина, если иметь в виду восторженно молящихся на его икону пушкинистов, профессиональных и любителей, губят, т.е. затемняют правду о Пушкине, не давая прояснить тайну,

заливая ее лаком славословия. Известно, что мрак, покрывающий тайны, может рассеяться! Но лак приходится соскабливать, и это гораздо трудней, тем более, если лакировщики так имениты и в большинстве, к которому, конечно, примкнуть выгодней. Я слышал, что некто из таких примкнувших к пушкинистам-“большевикам” высказался где-то примерно так: “Из Пушкина хотели сделать еврея, но ничего из этого не получилось”. Кто хотел сделать? Что значит, хотели сделать? Глупо и безнравственно сказал. Некто, кстати, из русских псевдонимов еврейского происхождения. Прежде принадлежал он к советским полудиссидентским литературным кругам, а ныне к американским полуакадемическим университетским кругам. Но надо признать, по-набоковски любит и умеет сидеть в библиотеках, путешествуя по книгам в самые дальние места вслед за верблюдами и мулами, поднимая, как выразился Набоков, книжную пыль. И кое-что из этого библиотечного путешествия привез, кое-что высидел, даже и неплохое, во всяком случае нужное. Но это касалось других, более ясных периодов, причем не Ганнибала, а Пушкина. Если уж о первооснове, то тут среди “большевиков”, т.е. пушкинистского большинства, “хотели сделать из Пушкина еврея, но не получилось”. А вот сделали из Пушкина эфиопа, вариант – негра. Получилось ли? Моя задача – не утверждать карантскую гипотезу, хотя она мне кажется гораздо более разумной, и не потому, что я хочу сделать из Пушкина еврея. Логика, дедуктивный метод Шерлока Холмса то подсказывает. Однако, хотите опровергать – то не ко мне, а, например, к скромному, неизвестному мне прежде харьковскому историку Александру Зинухову, очерк-версия которого был опубликован в московской газете “Совершенно секретно” №6, 2001 год. Я же попытаюсь кратко указать на несоответствия и нелепости, подчас анекдотические, которые обнаруживаются в очерке Надежды Брагинской “Загадки Ганнибала”, опубликованном в нью-йоркском журнале “Слово” №29-30 и в ее очерке, достаточно идентичном “Откуда родом Ганнибал”, опубликованном в берлинском журнале “Зеркало Загадок” № 4. Надежда Брагинская всего лишь добросовестный популяризатор чужих африканских версий-гипотез о происхождении Ганнибала, ныне в определенных кругах пушкинистов ставших почти теорией. Ибо слишком уж велик авторитет этих сторонников африканского происхождения. Издавна, вплоть до самого виновника, из-за которого весь сыр-бор, Александра Сергеевича Пушкина. А с некоторых пор также и Владимир Владимирович Набоков в своем приложении к комментариям романа А.С.Пушкина “Евгений Онегин” к тому руку приложил. Толстенный том, которому отданы чуть ли не 15 лет. “Кабинетный подвиг называет это свое деяние В. Набоков. “Россия должна будет поклониться мне в ножки (когда-нибудь) за все то, что я сделал по отношению к ее небольшой по объему, но замечательной по

качеству словесности”. В общем, я памятник себе воздвиг, к нему не зарастет народная тропа. Не знаю, как народная, но тропа современной интеллигенции и ставящих эрудицию и умение писать по-книжному превыше всего, превыше, конечно, той поэзии, которая по Пушкину должна быть глуповатой, и превыше, конечно, русской речи с ошибками, “как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю”. В.Набоков пишет правильно, умело, без ошибок, по-кабинетному. Но когда материал вне кабинетен, жизненно пережит автором, то такие книги мне лично по душе. Однако таких книг две-три, отдельные рассказы... В основном же, в том числе и нашумевшая “Лолита”, “кабинетный подвиг”, не вызывает моего чрезмерного восхищения. Потому на тропе, ведущей к памятнику Набокова, который он сам себе воздвиг, моих следов мало. Это мое дело и мое право, это мой вкус, который я никому не навязываю. Уж, конечно, в ножки, даже и самому Пушкину, кланяться не собираюсь. Да Пушкин этого и не просил, этого и не хотел. Когда пришли к нему неразумные поклонники кланяться, Пушкин их, можно сказать, вежливо прогнал. “Хвалу и клевету приемли равнодушно”, – советовал Пушкин иным. Но насчет клеветы, к великому сожалению, совету своему не внял. А вот насчет хвалы, я думаю, внял. Сам себя, конечно, хвалил. “Ай да Пушкин, ай да сукин сын!” И памятник себе возводил. “Любите самого себя!” – так в “Евгении Онегине”. Своему другу лицейскому, Горчакову говорил: “Когда меня хвалят, мне все равно. А когда ругают – не все равно”. “Значит, тебе не все равно, когда тебя хвалят”, – сказал Горчаков. Нет, Горчаков не разобрался в психологии Пушкина, который обладал чувством творца в самом высоком смысле, т.е. Божьем. К проклятиям в свой адрес Бог не равнодушен. За проклятия в свой адрес Бог рано или поздно, так или иначе, при жизни или после жизни наказывает. Вот к славословию в свой адрес, я думаю, Бог равнодушен. Не Бог требует, чтоб ему кланялись, а те, кто пониже. Часто самозванцы от имени Бога вещают. Инквизиторы разные, фарисеи, книжники... Но земного творца Пушкина это к тому же и раздражало. Пушкин был эпатажный, бретер, в молодости хулиган. Снобом он не был. Сноб преклоняется и дорожит модой; сноб дорожит вкусами и манерами высшего общества. Пушкин эту моду и эти манеры нарушал и в большом и в малом. Трудно себе представить высокомерного сноба Набокова по-пушкински – в красной рубахе, сидящим у пыльной дороги вместе с нищим песельником и поющим с ним псалмы. Пушкин, если надо было, умел работать в кабинете, но характер у него был не кабинетный. По чувственности своей, по характеру Пушкин противоположен не только Достоевскому, но и Набокову, отнюдь Достоевскому не близкому, а даже наоборот, Достоевского не слишком любящему. Ибо Пушкин противоположен не по линии стиля, не по линии литературы даже. Это противоположность

по духу. А когда личности, противоположные по духу, начинают комментировать, они либо извращают, либо засушивают, как засушивают меж книжных страниц живые листья или живых бабочек. Впрочем, для науки, может быть, это и нужно: такие литературоведческие гербарии. Ведь нужны же анатомические театры. Но я в анатомические театры не ходок. Я предпочитаю иметь дело с живым Евгением Онегиным и живым Пушкиным. Впрочем, сравнение с анатомическим театром, конечно, символическое. Посещению анатомического театра препятствует моя личная специфическая физиология. А чтению комментариев Набокова к “Евгению Онегину” – отсутствие досуга. Открываю наугад. Глава первая: у Пушкина “янтарь на трубках цареградских”.

Комментарий Набокова: “Благозвучным именем Царьград (см. также Путешествие Онегина XXVI, 4) русские поэты называли Константинополь, который российские патриоты мечтали взять у мусульман и т.д.”

У Пушкина “В бумажном колпаке”.

“Не только некоторые переводчики, но и русские комментаторы поняли “бумажный” как “сделанный из бумаги”! На самом же деле, сочетание “бумажный колпак” – это попытка Пушкина передать французское *bonnet de coton*, т.е. хлопковый домашний колпак. Существует в английских словарях *calpac*, или *calpack*, или *kalpak*, ассоциируется с Востоком. Этим словом я воспользовался для передачи русского колпак в гл. 5. XVII, 4.

Васисдас – французское слово (признанное Академией в 1798г.). *Vasistas* означает окошко либо подобие форточки и т.д.”

Нет, даже в досуг свой, если такой появится, этим набоковским кирпичом себя не придавил бы. Разумеется, о себе говорю, никому не навязываю. На нервы лично мне действует этот книжный, кабинетный, научный снобизм. Кабинетные подвиги не по мне. Если уж подвиги, то с ветряными мельницами. А ветряных мельниц, увы, как известно, в кабинетах нет. Думаю, и Пушкина кабинетный подвиг бы рассердил. Пушкин был, как мне кажется, человек уличный, не научный, описывался, элементарно ошибался в фамилиях и датах, писал исторические неточности. О том еще скажу. О том говорит и Набоков. Но снобистско-кабинетной сухости не любил, особенно по отношению к своему живому творению. Впрочем, повторяю, для науки может это и нужно. Ученый структуралист Ю.М.Лотман также занимался комментариями к “Евгению Онегину”. Это не по мне. И если понадобился толстый том набоковских комментариев, то ради приложения: Абрам Ганнибал. Это по теме и это меня заинтересовало. Набокова, как известно, в советское время много и несправедливо

критиковали. Хотя в отношении снобизма, иной раз переходящего в цинизм, — справедливо. Ныне, в после-перестроечной России — все наоборот. В оккультных набоковских обществах за каждую строчку в ножки кланяются, как Набоков и мечтал. Хорошо еще, что Набоков не прокомментировал “Гавриилиаду”, тем более “Луку Мудищева”, при его-то, Набокова, научной кабинетной дотошности и пунктуальности. Но к делу, т.е. к набоковскому Абраму Ганнибалу.

Набоков, конечно, “африканец” — караимская гипотеза, кажется, ему неизвестна, иначе, думаю, он как-то на нее бы откликнулся. Очевидно, она до него не дошла или в его время не существовала.

Надо сказать, что к кому бы не обратиться по африканской гипотезе, все от мала до велика начинают плясать от прошения Ганнибала и следующей за этим прошением “Немецкой биографии”, т.е. гипотеза держится на этих двух африканских слонах. Прежде слоны были абиссинскими. Ныне, по новейшему методу, они перекочевали за тысячу километров на берега озера Чад, поэтому вопрос первый — насколько эти оба слона достоверны. Не резиновые ли, не надутые ли воздухом?

Первооснова — прошение Абрама Ганнибала. Георг Леец, автор биографического исследования “Абрам Петрович Ганнибал” (Таллинн, 1980 г.) ошибочно называет это прошение краткой биографией. Итак, в прошении — жанр бумаги важен — Абрам Петрович пишет:

“Родом я, низайший, из Африки тамошнего знатного дворянства. Родился во владениях отца моего, городе Лагоне, который и кроме того имел под собой еще два города...” Тут обычно обрывают текст. У Брагинской есть еще одна фраза текста через многоточие: “... На дворянство диплома и герба не имел, понеже в Африке такого обыкновения нет”. Но это еще куда ни шло. Хуже, что ничего не сказано о том, что сведения в прошении были признаны по сути недостоверными. Прощение было подано Ганнибалом в сенат с явно корыстной целью получить не только дворянство, но и княжеский титул, поскольку город Лагон имел под собой еще два города. Сенат, куда прошение было подано, и императрица Елизавета отказали. И то, что об том ни слова даже у дотошного Набокова, по крайней мере, странно. Трудно себе представить, что это было неизвестно Набокову. Да и другим авторам — “африканцам”, среди которых и весьма именитые.

А узнал я об отказе опять же из очерка скромного харьковского историка Александра Зинухова. “Рассказы Абрама Петровича Ганнибала о его благородном африканском происхождении на веру не взяты. Цену им знали... Таким образом, в момент рождения А.С.Пушкина его мать Надежда Осиповна (Иосифовна) и вся Ганнибалова родня дворянами не были...” “Только после смерти Ганнибала его дети получили грамоту о дворянстве. При этом замечено, что происхождение их “покрыто неизвестностью”. Иными словами — мраком. Впоследствии мрак этот

был заменен лаком, происхождение отлакировано. И сам Александр Сергеевич Пушкин принял участие в том лакировании. Меж тем дворянство Ганнибалами получено не на основании прошения, а как землевладельцами Псковской губернии. Княжеский титул так и не был получен. Титул, который должен был быть, если бы признали достоверным Лагон, имеющий под собой два города, т.е. княжество. Однако, может быть сенат и императрица Елизавета поступили несправедливо? Ведь помимо “слона” – прошения, существует и второй, на котором держится “африканство” Пушкина – “Немецкая биография”. О “Немецкой биографии” у Набокова сказано: “В ней есть подробности вроде отдельных имен и дат, которые мог помнить только Ганнибал; и при этом в ней много такого, что противоречит или историческим документам (например, прошению самого Ганнибала) или элементарной логике, и явно вставлено биографом с расчетом подправить историю, заполнить пробелы и истолковать лестным для героя (хотя в сущности нелепым) образом то или иное событие его жизни. Поэтому я считаю, что кто бы не состряпал эту гротескную подделку, он (или она) своими глазами видел(а) какие-то автобиографические наброски самого Ганнибала”. (Иными словами, по Набокову гротескность относится и к самому Ганнибалу.) “В немецком языке, по-моему, узнается житель Риги или Ревеля. Возможно, автором был кто-то из ливонских или скандинавских родственников г-жи Ганнибал (урожденной Шеберг). Скверная грамматика, по-видимому, исключает авторство профессионального генеалога”. Несколько ранее о биографии у Набокова сказано, что она написана “убористым готическим почерком на высокопарном и цветистом, но не слишком грамотном немецком”. Притом, пишет Набоков, “Пушкинское примечание II к “Евгению Онегину”, основанное преимущественно на этой биографии, но с деталями, прибавленными из семейных преданий или романтических фантазий”. Вот именно. В области исторической достоверности Александр Сергеевич Пушкин авторитетом не является, даже наоборот. И в произведениях гораздо более художественно значимых, чем родословная Пушкина и Ганнибала или неоконченный исторический роман “Арап Петра Великого”, в “Моцарте и Сальери”, например, или в “Борисе Годунове” исторической правдой пожертвовал. В “Моцарте и Сальери” Пушкин воспользовался сомнительным анекдотом из Лейпцигской немецкой “Всеобщей музыкальной газеты”, перепечатанным русской прессой, где сказано, что Сальери признался на исповеди некоему монаху в отравлении Моцарта. То, что некий монах нарушил тайну исповеди, уже ставит под сомнение его мораль. Но дело не в том. На родине Моцарта, в Австрии, каждому школьнику известно, что Моцарт умер естественной смертью. Умер Моцарт от нефрита, болезни почек. Так что Пушкин своим художественным авторитетом

по сути поддержал клевету, верил ли он в нее или не верил. Почему же поддержал? Я думаю, что сюжет этот понадобился Пушкину, ибо он сам на себе испытал ядовитую зависть врагов, а еще, может быть в большей степени, мнимых друзей, которые в конечном итоге преждевременно, молодым свели Пушкина в могилу. По духу это высоко. Но по букве, по отношению к Сальери, учителю Бетховена, неправдиво и несправедливо. А ведь истории как науке важна все-таки буква. Примерно через два года после написания пьесы, т.е. где-то 1832 году, дата неизвестна, Пушкин в краткой заметке как бы новым недостоверным анекдотом подтверждает прежний недостоверный, легший в основу пьесы. Будто бы в первом представлении “Дон Жуана”, когда театр, полный знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист. Все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из зала, снесаемый завистью. Завистник, который мог освистать Дон Жуана Моцарта, мог отравить его творца. Заметка эта была опубликована лишь в 1855 году, когда любая строчка Пушкина, достоверная или недостоверная, была в цене. Меж тем, исторически Сальери вовсе не присутствовал на спектакле, о котором пишет Пушкин.

Еще более исторически недостоверен “Борис Годунов”, хоть тут Пушкина оправдывает отсутствие документов, умышленно скрытых пристрастными Романовыми, в задачи которых входило оклеветать Годунова. Был придворный Карамзин и более ничего. Пушкин пошел вслед за карамзиновской “Историей государства Российского”. Тут уж не отравленный Моцарт, а “кровавые мальчики”, царевич Дмитрий, будто бы зарезанный по приказу Годунова. Годунову, однако, не было никакой надобности резать “кровавого мальчика”, поскольку он, этот “кровавый мальчик”, был по церковному обряду незаконный, побочный. И по закону никаких прав на трон не имел. Как известно, все присутствовавшие при смерти “кровавого мальчика” единогласно показали, что он сам себя зарезал при эпилептическом припадке, играя в ножики. России еще этого кровавого эпилептика на троне не хватало. Так обстоит дело с историческими сочинениями Пушкина. Когда же дело касается собственной личной истории, собственной родословной, то исторической правды от Пушкина ждать не приходится. Особенно в запальчивой перепалке со злобствующими недругами типа Булгарина. У Фаддея Булгарина была своя версия появления Ганнибала в России, не африканская, не караимская – морская.

“Решил Фиглярин, снйя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкипера попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля”

Т.е. будто бы юный Ганнибал был юнгою на корабле, его купил за бутылку рома Петр. Разумеется, версия лживая, она и личности Ганнибала не соответствует. Но действительно ли такая биография столь постыдна и была бы препятствием в успешной карьере, если бы человек с такой биографией действительно был достоин такой карьеры в петровской России? Действительно ли происхождение, социальное и национальное, играло в петровской России столь существенную роль? Раз уж речь идет о юнге, приведу пример другого юнга голландского корабля, крещеного португальского еврея Антона Мануиловича Двиера. В Испании и Португалии, как известно, евреев принудительно заставляли креститься под угрозой конфискации имущества и изгнания. Двиер Антон Мануилович явно не богатого и не знатного рода, иначе он не пошел бы юнгой на голландский корабль, понравился императору Петру Алексеевичу своей ловкостью, был взят им в Россию и проявив себя в науке и сражениях, достиг чина генерал-адъютанта, был первым генерал-полициейстером Петербурга, начальником петербургской полиции и внес в строительство города не меньший вклад, чем префект города Парижа Осман внес в строительство Парижа. Кстати, Османовский бульвар в Париже существует, а Двиеровского в Петербурге – нет. В Севастополе, правда, существует бульвар другого знатного крещеного сиря, адмирала Нахимова. Так что препятствием для карьеры социальное и национальное происхождение все-таки далеко не всегда являлось. Екатерина I возвела Двиера Антона Мануиловича в графское звание. Ну а Ганнибал? Действительно столь высоки были его заслуги? Ему приписывают подвиги в Испанской войне, как о том пишет А.С. Пушкин в “Арапе Петра Великого”, но на войну за испанское наследство 1700-1714 года он не поспевал по возрасту, а что касается войны 1719-1730 годов, на которой, пишет Набоков, Ганнибал был будто бы серьезно ранен и попал в плен, то опять же, как пишет Набоков, “странно, что потом из Франции он об этом событии ничего не говорил”. Действительно странно, при его честолюбии. Вероятнее, что прав историк Александр Зинухов: “в войне участвовал иной человек, который был ранен и взят в плен. После пропал. Ганнибал присоединил факт его биографии к своей и стал героем Испанской войны. Нужно заметить, что в обращении к Екатерине I и Елизавете Петровне он никогда об этом не упоминает”. Так что возникает вопрос, что вообще за человек был Абрам Петрович Ганнибал, показания которого легли в основу всей пушкинианы о знатном происхождении А.С. Пушкина?

В какой степени можно ему верить, не будучи пристрастным, коим несомненно был Александр Сергеевич, к тому же не обладавший набоковской дотошностью в исследовании фактов и иной раз даже в мелочах путающийся? Согласно Набокову, в своих генеалогических заметках об Абраме Ганнибале Александр Сергеевич запутался в арифметических подсчетах дат Ганнибала, основанных на словах “Немецкой биографии”, “будто бы из Абиссинии Ганнибала увезли семилетним, а умер он в 92 года. Неизвестно, как Пушкин справился с досадным математическим следствием: выходило, что маленький мавр провел в серале у султана 10 лет и в Москве перед царем предстал семнадцатилетним детиной.” К тому ж, указывает Набоков, в именах путал. Пушкин считал, что русским посланником был в это время Дмитрий Шепелев, в действительности – Петр Толстой. Так что для науки, желающей страстно определить генеалогию происхождения А.С. Пушкина, сам А.С. Пушкин авторитетом быть не может, даже наоборот. Ну а Ганнибал? Можно ли ему верить на слово? Был ли он хотя бы элементарно нравственной личностью? Опять же по Набокову, тщательно исследовавшему материал: “Ганнибал женился на Евдокии Диупер... Она была ему неверна, он отвечал тем же... Ганнибал соорудил у себя дома собственную камеру пыток с дыбой, железными зажимами, тисками для больших пальцев рук, бичами и т.п. Упрямый и педантичный, он добился для своей жертвы тюремного заключения за супружескую измену... Тем временем Ганнибал женился (незаконно) на своей любовнице с четырехлетним стажем... От второй жены (которую, согласно “Немецкой биографии”, звали Христина Регина) у Ганнибала было одиннадцать детей, из них третий сын, Осип, стал дедом Пушкина с материнской стороны ... За эти годы Ганнибал выказал себя знатоком в устройстве фейерверков на официальных торжествах и в составлении дописок на разных чиновников”.

Конечно, родственников не выбирают, предков не выбирают. Но, безусловно, предка такой нравственности Пушкин иметь не хотел, хотя бы судя по тому, что в пушкинской художественности воссоздан совершенно иной образ: сильно приукрашенный и отлакированный. “В французских мемуарах о Регентстве, - пишет Набоков, - я не нашел подтверждения словам Пушкина в романе (имеется в виду роман “Арап Петра Великого”) будто знатные дамы наперебой приглашали “царского арапа” (*le negre du Czar*), будто он был на дружеской ноге с Вольтером и будто драматург Мишель Гюйо де Мервиль познакомил его с женщиной высшего света, графиней Леонорой де Д., родившей ему черного ребенка”. “О том, какое существование вел Абрам среди всего этого ослепительного веселья, известно мало – ведомо лишь, что он жил в постоянной и позорной нужде”.

Не подтверждается и другой эпизод из романа “Арап Петра Великого”,

взятый из “Немецкой биографии”: будто когда Абрам возвращался из Франции, государь, получив известие о его приближении, со своей супругой императрицей Екатериной поехал ему навстречу. У Пушкина не только поехал навстречу, но и ожидал его в трактире “со вчерашнего дня”. “Здесь практически все вымысел, - пишет историк Александр Зинухов. Император получил известие не о приближении своего бывшего арапа, а о прибытии посольства и действительно выехал ему навстречу”.

Интересно, знал ли Пушкин о домашней камере пыток своего предка и его склонности к доносительству. Может, и не знал, хотя бы потому, что и враги Пушкина, такие как Булгарин, о том не знали, иначе обязательно использовали бы. Однако и без этих крайностей видно, что Александр Сергеевич всячески хотел образ своего предка залакировать, опираясь при этом на “Немецкую биографию” с ее несусветной чушью. Тут и сестра Ганнибала, Лагонь, соответственно названию города. (Набоков утверждает, что нет ни одного абиссинского женского имени, которое бы соответствовало названию города. Да и по-русски не отыскать женского имени Москва или Тула.) И так, сестра Лагонь, которая бежала за братом, когда его увозили в турецкое рабство, и с горя утопилась. Тут и брат, который приезжал выкупать его из рабства. Набоков утверждает, что в тот период не было в турецком рабстве ни одного абиссинца, тем более знатного происхождения. Все это, весь этот стиль и язык написания напоминает *pfennigbücher*, издаваемые для малограмотных или даже читающих по складам кухарок и конюхов. В русском варианте книги-копейки, издаваемые для тех же целей. Интересно, как бы это звучало по-русски в авторском переводе с сохранением грамматики и стиля. “Любимая сестра Лагонь бежалъ за любимый брат Ганнибалъ, который забирали в турецкое рабство и с горя себя утопилъ”? Вот так нелепо звучало бы. Представляю, как читал бы “Немецкую биографию”, переведенную на русский, Набоков, который, в отличие от Пушкина, свободно владел немецким. Впрочем, относительно того, как Ганнибал оказался в Турции, а затем и в России, существуют варианты. У Н. Брагинской: “Известный Санкт-Петербургский ученый Н.Телетова пишет: Мальчика 6-7 лет похитили работоторговцы или интригами старших жен Миарре (князя) он отдан был в качестве части налога в соседнее государство (этот обычай засвидетельствован ныне экспедицией). Затем дальней дорогой увезен в центр торговли “черным товаром”, город Триполи, и попал в Константинополь и т.д.”.

Оказывается, целую экспедицию отправили на поиски следов Ганнибала, а привезли лишь подтверждение обычая платить налог живым товаром. Не дороговато ли? Впрочем, судя повсему, этот научный метод нынешних Санкт-Петербургских ученых весьма распространен. На мой взгляд, весьма анекдотический метод, что подтверждается в дальнейшем. К тому ж, таким методом можно доказать все что угодно.

Например, что Ленин – потомок Далай-Ламы, предок его был похищен хунхузами, попал в Россию и т.д. Научный уровень доказательств не выше, но и не ниже вышеприведенного. Как известно, Абрам Петрович помнил город Лагон, откуда он родом, помнил даже, что у этого города было в подчинении еще два города, т.е. княжество, но какая это была страна почему-то не помнил. Страну дополнила “Немецкая биография”. Страна – Абиссиния. Лагон находится в Абиссинии. Абиссинские корни Ганнибала, а значит, и Пушкина по материнской линии, взяты из “Немецкой биографии”. Конечно, можно сказать, что тогда еще царил исторический мрак, а мрак в отличие от лака рассеивается под лучами света. Лак под лучами света, наоборот, еще более блестит. “Теперь, когда лучи света истории стали понемногу проливаться на предмет нашего исследования, – пишет Набоков, – мы наконец можем отказаться от утомительной затеи обсуждения бурлескной и помпезной “Немецкой биографии”, полной всяческого вздора, – довольно уж я цитировал и пересказывал ее! Перейдем к анекдотам о юности Ганнибала”.

Ну, имеющиеся анекдоты в изложении Набокова я уже цитировал. Иные анекдоты излагает сам Пушкин, например: На прогулке с государем Ганнибал закричал: “Государь, из меня кишки лезут!” Государь собственноручно выдернул глисту у Ганнибала из заднего прохода. Впрочем, в такие анекдоты сам Пушкин, конечно, не верил. Они приведены ради экзотики. Но в другую экзотику, пусть и не столь физиологическую, он верит и ее использует в своей художественности, будучи пристрастным и желая украсить, залакировать своего предка. Но почему в них верит Набоков, посвятивший себя строго научному и беспристрастному исследованию? Не во все, не в большинство, но кое-чему все-таки верит, понимая при том, что достоверность их так же анекдотична.

“Тут нам надо выбрать одну из возможностей: или мальчик попал на константинопольский невольничий рынок в ходе обычной работоторговли. Или его, как утверждает “Немецкая биография”, тайно переправили из султанского серая русскому послу с помощью великого визиря... или агент русского посла подталкивает своего наемщика к большей щедрости, изображая молодого раба дворцовым узником благородного происхождения, или, что более вероятно, русский посол приобрел мальчика самым обычным способом, состряпал экзотическую историю, чтобы удивить царя. Но раз уж за неимением лучшей гипотезы мы склоняемся все-таки к версии знатного происхождения Ганнибала...”

II

Вот суть, вот ответ – за неимением лучшей гипотезы. Лучшая гипотеза, на мой взгляд, – караимское происхождение Пушкина – не имеет отношения к Абиссинии и вообще к Африке и не требует египетских гипотез о путях появления Ганнибала в Турции, ибо родом

он из Турции, из того же Азова – Азефа. Однако эта гипотеза либо неизвестна, либо нежелательна, поскольку она отвергает устоявшуюся африканскую, столь близкую самому виновнику всего “сыр-бора”, т.е. Пушкину. Есть еще одна психологическая причина неприятия этой гипотезы, в том числе самим Пушкиным. Я о том скажу. Впрочем, Абиссинию В. Набоков тоже не приемлет. Эфиопское происхождение он отвергает. По праву, скажу я. Но отвергая по праву Абиссинию, все же остается в Африке. Отвергает, конечно, с осторожностью, понимая, что все тут зыбко, как мираж в африканской пустыне, когда до оазиса далеко! “Было бы пустой тратой времени гадать, а не родился ли Абрам вовсе не в Абиссинии; что, может, работорговцы поймали его совершенно в другом месте – например в Лагоне (в области экваториальной Африки, южнее озера Чад, населенной неграми-мусульманами)... Можно бы призадуматься и над загадочным вопросом, отчего Ганнибал, с его пристрастием к политике, и Пушкин, с его пристрастием к экзотике, ни разу не упоминают Абиссинию (Пушкин, разумеется, знал, что ее называют “Немецкая биография”, русский перевод которой ему продиктовали). Бремя доказательств ложится на неверящих в абиссинскую теорию; тем же, кто ее принимает, приходится выбирать между верой в то, что Пушкин был праправнуком одного из диких и вольных негритянских кочевников, блуждавших по окрестностям Мареба, или в то, что он потомок Соломона и царицы Савской, к которым абиссинские цари возводили свою династию”.

Это весьма осторожное предположение Набокова, полное оговорки и неясностей, приобрело ясность и очертания, попав в цепкие, умелые руки некоего выходца из Африки Д.Гнамманку (Д.Нияммангу), воспитанника Сорбонны. “Он не пошел вслед за “Немецкой биографией”, полной апокрифических, выдуманных сведений, как это до него делали многие исследователи, – пишет Н.Брагинская, – Д.Гнамманку взял за основу тот единственный документ, в котором Ганнибал собственноручно писал о своем месте рождения – “Прошение” императрице Елизавете Петровне...”

Это называется: “Наша песня хороша, начинай сначала”. Прошение было отвергнуто сенатом и императрицей как недостоверное. А можно ли верить Ганнибалу на слово, при его уровне нравственности, тоже показано. Н. Брагинская приводит слова Марины Цветаевой: “Пушкин своим рождением разрушил все расистские теории”. Да при этом проведении равенства надо помнить, что не только в добром, но и в дурном, расы равны. Среди черных, как и среди белых, встречаются ловкачи, корыстолюбцы, умельцы лихо состряпать личные делишки и проч. Об этом ниже, а теперь все-таки назад, к Набокову. Невзирая на все сомнения, Набоков все же отправился в далекое путешествие на поиски ганнибаловских корней А.С.Пушкина. Конечно, отправился на свой манер, совершая “кабинетный подвиг”, проводя лишние часы,

как он сам пишет, “в великолепных библиотеках Корнельского и Гарвардского университетов”. В этом своем пути В. Набоков встречается, а вернее, сталкивается с другим путешественником, едущим с той же целью, а именно Дмитрием Николаевичем Анучиным. Не во времени сталкиваются, а в пространстве, потому что Дмитрий Николаевич, 1843 года рождения, умер в 1923 году. А В. Набоков пускается в путешествие в 1956 году. Но и в пространстве это столкновение носило своеобразный характер: оба искали Лагон, но в разных местах. Дмитрий Николаевич все-таки в Абиссинии, а Владимир Владимирович в районе озера Чад. Истина так и не была обнаружена обоими до тех пор, пока она не попала в крепкие умелые руки уроженца Чада, камерунца, воспитанника Сорбонны Диедонне Нияммангу, который, конечно же, хорошо знал эти места с их едкой пылью, знойным солнцем, верблюдьими караванами. Набоков же в 1956 году писал: “Таким образом, я полагаю, что вопрос о точном месте “Л” (Лагоны) к моменту написания этой работы остается нерешенным, но я склонен считать, что она находилась в северных областях Абиссинии, где мы бредем, поднимая книжную пыль, вслед за мулами и верблюдами дерзких караванов”. Книжные столкновения обоих путешественников, на первый взгляд, носят географический характер. Но я полагаю, что главные разногласия все-таки этнографические и антропологические. Невзирая на критическое отношение к пушкинскому “африканству”, В. Набоков ищет, если не абиссинца, то все-таки негра, а Д. Анучин ищет семита. Смешно даже говорить, что неверие в семитское происхождение Пушкина носит у В. Набокова юдофобский характер. В то же время он, конечно, лишен и трусливого интернационализма—объективизма, наподобие приведенного мною выше “русского псевдонима”: не дай Бог, могут подумать, что мы, евреи, хотим присвоить себе русского Пушкина. Вот что в подсознании или даже в сознании подобных “псевдонимов”. Невзирая на скептицизм и критику пушкинского пристрастия и пушкинской неточности, В. В. Набоков все-таки, я думаю, не может избавиться от обаяния пушкинской художественности “под небом Африки моей”. Но “за неимением другой гипотезы”... Я бы добавил: за нежеланием иметь другую гипотезу, противоречащую Пушкину и его, Пушкина, уверенности в своем негритянском происхождении, коему противоречит исследование Д. Н. Анучина.

“В работе, стоящей ниже всякой критики в том, что касается истории, этнографии и географической номенклатуры, увлекшийся антропологией журналист Дмитрий Анучин (1899)...” Далее уже начинается не интересующее меня набоковское буквоедство. Но подобное заявление В. Набокова о Д. Анучине является для меня загадкой не меньшей, чем происхождение Ганнибала. Я оставляю его на совести В. Набокова. Все имеет свои границы, даже снобизм, особенно ког-

да он становится циничен. Неужели при обширной набоковской эрудиции... Как раз эрудиция меня более всего смущает: “увлекшийся антропологией журналист Дмитрий Анучин” это все равно, что сказать – увлекшийся химией Дмитрий Менделеев. Тут мне даже пытались высказать предположение, что, мол, после гитлеризма Набоков вообще отрицает антропологию. Ну, это уж ни в какие ворота... Во-первых, это все равно, что отрицать химию из-за использования гитлеровцами газов, а во-вторых, Набоков не отрицает антропологию как таковую. Так низко он пасть не может, даже в своем раздраженном снобизме. Он отрицает авторитет Д. Анучина в антропологии. Если бы речь шла о бабочках, то тут еще можно было бы как-то прислушаться к спору. Но в области антропологии, где сам Набоков вообще-то нуль... Да и в области географии не более чем любитель.

Если Набокова не смущает, что уважаемая русская газета “Российские ведомости”, начиная с 10 апреля 1899 года к столетию со дня рождения Пушкина из номера в номер публикует работу Дмитрия Николаевича Анучина “А.С.Пушкин. Антропологический эскиз”, заглянул хотя бы в энциклопедию братьев Гранат, авторитет которой под сомнение поставить нельзя даже при крайнем снобизме. В томе третьем, начиная со страницы 251 публикуется большая статья о Д.М.Анучине с его портретом. Приведу отрывки: “Анучин Дмитрий Николаевич, известный антрополог и географ, родился в 1843 году, в Истербурге... По рекомендации проф. А.П.Богданова, в 1876 году был командирован московским университетом за границу для приготовления к только что основанной тогда при Московском университете кафедре антропологии. По возвращении в Москву Анучин, получив в 1880 году степень магистра зоологии за диссертацию “О некоторых аномалиях человеческого черепа”, был избран доцентом по кафедре антропологии. В 1884 году ... был назначен экстраординарным профессором по только что учрежденной тогда кафедре географии и антропологии... В 1887 году ординарный профессор... Удостоен звания доктора географии и т.д. Анучин состоит почетным членом Академии Казанского университета, Лондонского антропологического института и многих других ученых обществ...” Из ученых трудов: “Антропоморфные обезьяны и низшие расы человечества”, “К древней истории домашних животных в России”, “О древних искусственно деформированных черепах, найденных в России”, “Лукистрелы. Археологически-этнографический этюд”, “Сани, лады и кони как принадлежность похоронного обряда”, “К истории ознакомления с Сибирью до Ермака”, “Рельеф европейской России в последовательном развитии представления о ней”, “Верхневолжские озера и верховье Западной Двины”, “К истории искусств и верований у приуральской чуди”, “Геологическое и доисторическое прошлое Москвы”, “Пушкин. Антропологический эскиз” и т.д.

Я привел этот далеко не полный список трудов Дмитрия Николаевича Анучина, во-первых, чтоб доказать, что ученым князем Дундуком он не был, во-вторых, если уже о теме, чтобы показать, что Дмитрий Николаевич Анучин, выдающийся русский ученый, никаким особенным пристрастием к еврейству не обладал, никаким особенным юдофильством и желанием сделать из Пушкина еврея, как выражаются иные, не руководствовался. Он руководствовался исключительно научными данными в области антропологии, в которой был серьезным научным авторитетом. У историка Александра Зинухова: “Антропологическое изучение физического облика Александра Сергеевича Пушкина не продвинулось ни на шаг за последние сто лет... Исследователи стыдливо обходили этот вопрос. Илья Файнберг в работе “Читая тетради Пушкина” (М., 1995г.) ограничивается туманными рассуждениями о сложной семито-хамитской смеси, образовавшейся в средневековой Абиссинии. Д.Н.Анучин был более определен.. Известный антрополог делает смелое заявление “Нельзя игнорировать также тот факт, что как при жизни Пушкина, так и в новейшее время личности, считавшиеся наиболее походившими на Пушкина по типу своих волос и лица, оказывались обыкновенно евреями”.

Итак, об антропологическом облике Пушкина известный антрополог высказался достаточно определенно. Он не негроидный, а семитский, притом еврейский.

Есть еще одно лицо, без которого невозможно понять происхождение Ганнибалы, а значит и Пушкина: Савва Рагузинский, человек, доставлявший арапчат, в том числе и Ганнибала. В.Набоков высмеивает “Немецкую биографию”, которая объявила Савву ровесником Ганнибалы, одним из арапчат. “Пушкин сохраняет такую вымышленную синхронизацию возрастов этих двоих в своем среднего достоинства романе “Арап Петра Великого”: “Ибрагим, будучи около 30 лет от роду возвращается в 1723 г. в Петербург, он видит в императорском дворце “молодого Рагузинского, бывшего своего товарища”, которому на самом деле было тогда 55 лет. Так кто же был этот Рагузинец с переменным возрастом”, – задает вопрос В.Набоков. Набоков называет его сербским торговцем. Неизвестно на каком основании. При встрече с Петром Савва именуется греческим купцом. “Отец его Лука Владиславович считал себя потомком боснийского княжеского рода Владиславовичей. (Неизвестно на каком основании)”, – это уже сам Набоков пишет, – “графский титул... был милостью, дарованной Петром в признание Саввиных заслуг”. Вот именно. Наподобие графского титула бывшему юнге, крещеному еврею Двиеру, в то время, как на прошение о княжеском титуле Ганнибалу было отказано. Какие же заслуги дали Савве Рагузинскому графский титул и прочие почести? Доставка арапчат, в их числе Ганнибалы? Вряд ли. Да и в тот период Савва графом не был. Агентурная деятельность

сего в Турции, конечно, ценилась. А национальную принадлежность историк Александр Зинухов определяет по имени: “Савва – усеченная форма от древнееврейского Вар-Сава, “праведный”. Именем Вар-Сава называли библейского Иосифа. Следовательно подлинное имя Саввы

Иосиф из Азова ... Азов – замена гласной в на ф – Асеф. ... Азов город Иосифа праведного. Савва (Иосиф) родом из города Иосифа.” Так у Александра Зинухова. Несогласные могут с ним полемизировать. Я же хочу сказать о заслугах. В 1711 году, как известно, Петр совершил неудачный поход в Молдавию. На реке Прут его армия была окружена турецкой армией. Положение было безвыходное, и армии грозило либо полное уничтожение, либо капитуляция. Петр оказался бы в унижительном турецком плену, в Россию он бы не попал. При царевице Алексее, который был, по нашим временам, “сторонник мирного процесса”, все реформы Петра были бы отменены. Войны он не хотел. Флот, построенный Петром, хотел уничтожить. Это в условиях воинственных соседей – поляков, шведов, которые, особенно поляки, мечтали отбросить Россию в Азию, мечтали о расчленении России на отдельные княжества. Прахом пошли бы все петровские реформы, определившие будущее России, при всех ее дурных сторонах, все-таки великой державы. И конечно же, в этом будущем Пушкину места не было бы. Затхлая, пропахшая ладаном атмосфера Алексеевой Руси могла бы, в лучшем случае, обещать протопопа Аввакума. Этот момент, эта катастрофа на реке Прут, помимо прочего, угрожала еще и будущему российской культуры, угрожала Пушкину. Был еще момент, который угрожал существованию Пушкина генетически. “Кажется, за несколько месяцев до крещения, в 1707 году, какие-то усердные придворные и впрямь попытались женить арапа: ...царь пишет..., что он против брака арапа, - видимо, с дочерью негра в услужении какого-нибудь вельможи, или с карлицей, или домашней дурой, с шутихой. Для гена, участвовавшего в создании Пушкина, минута эта была критической, и царь заслуживает благодарности за выправление путей судьбы”, – пишет Набоков. Т.е. Петр, любивший потешные браки, на этот раз брака потешного не допустил.

Но в 1711 году под угрозой была судьба всей Петровской России, выдающимся продуктом которой, конечно, был Пушкин. Что же спасло и Россию и Пушкина?

Как известно, Савва Рагузинский сопровождал Петра в походе. Связи с турецкими евреями он сохранил, а они, благодаря торговле и финансам, имели большие связи при дворе султана. Министр иностранных дел Шафиров, он же Шапиро, и Савва Рагузинский, он же Иосиф из Азефа, через турецких евреев дали большую взятку визирю. А визирь повлиял на султана, может быть, даже поделился с ним. И русская армия во главе с Петром была выпущена турками. Без знамен, без пушек,

с обязательством ликвидировать флот на Черном море, что вынужден был впоследствии исправлять лицейский друг Пушкина Горчаков, но выпустили. Более того, среди турецких требований было также оставление Россией Украины, т.е. полтавская победа над шведами пошла бы насмарку. Но опять же под воздействием Саввы и турецких евреев визирь доказал султану, может быть, не без оснований, что Украина тогда опять попадет под власть Польши, опять усилится Швеция, а это для Турции будет опасней. Таким образом была спасена Петровская Россия, а значит, будущее России и среди прочего Пушкин. Таковы анекдоты истории, которая вообще наука анекдотичная. Наполеон точно так же возвысился, начав серию своих побед с взятки, которую он дал коменданту швейцарской крепости, чтобы заставить его капитулировать.

Но опять же, я повторяю, есть анекдоты остроумные, есть анекдоты тупые, вызывающие смех своей тупостью. К таким – вызывающим смех тупым анекдотам, я бы отнес “открытие” в пушкиноведении Д.Гнамманку (Д.Нияммангу) и последовавшие за тем африканские “открытия” современных пушкинистов. – И.В.Данилова, Н.Телетовой и других. “В 1995 году, - пишет Н.Брагинская, – в Москве на конференции “Пушкин и христианская культура” Д.Гнамманку впервые выступил с сенсационным докладом о своих исследованиях... Летом 1999 года он сделал доклад на Мойке, 12. К нему он подготовил собственный текст “Приглашения” (поскольку изучил специально русский язык). О, великий и могучий! Скажу от себя, этот текст “Приглашения” только по стилю своему определяет серьезность открытия. И не постеснялись нынешние российские пушкинисты на Мойке, 12 повесить такое “приглашение”. Вот этот текст, с необычайной серьезностью приведенный Н.Брагинской в своей статье: “ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!” (Это крупно заглавными буквами с тремя восклицательными знаками) “Впервые в Петербурге знаменитый Африканский Историк” (Это так сам о себе, причем слово “африканский” и слово “историк” с большой буквы) “Диедонне Нияммангу, дает конференцию сегодня 28 июня 1999 г. с 19 часов в музее Пушкина, на тему “Африканское происхождение Пушкина”

Далее уже приписка от музея: “Диедонне Нияммангу – первый историк в мире, который доказал (sic!), что у Пушкина камерунское, а не эфиопское происхождение, как предполагали. Сегодняшний день, это доказательство является утверждением.” (Как-то, дамы и господа ученые, не слишком грамматически правильно сформулировано “сегодняшний день” - ну уж Бог с ней, с грамматикой) “Как это ему удалось?” (Вот именно – как?) “Приходите и будьте свидетелями одного из важнейших моментов истории Пушкина и России.” (Ни больше ни меньше)

“Адрес: музей Пушкина, Мойка 12”

Я не был по объявлению “знаменитого Африканского Историка” и музейной приписки к нему господ пушкинистов, научных работников, но по стилю это приглашение напоминало мне нечто подобное. Не слишком напрягая память, я вспомнил:

ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ!!!

знаменитый бомбейский брамин (йог)

- Сын Крепыша.-

Любимец Рабиндраната Тагора

Иоканаан Марусидзе.

(заслуженный артист союзных республик)

номера по опыту Шерлока Холмса.

Индийский факир. – Курочка невидимка. – Свечи с Атлантиды.–

Адская палатка. – Пророк Самуил отвечает на вопросы публики.

– Материализация духов и раздача слонов.

Входные билеты от 50 к. до 2 рублей.”

На афише-объявлении был изображен Остап Бендер в шароварах и чалме.

Не знаю, был ли изображен на афише в музее Пушкина “знаменитый Африканский Историк” Диедонне Нияммангу и сколько стоил входной билет, но по стилю и по духу – очень похоже. С той лишь разницей, что в объявлении Остапа Бендера, которое он хранил вместе с другими необходимыми для работы предметами в акушерском своем саквояже, в подтексте умная насмешка и едкая ирония над дурачинами и простофилями, а объявление Диедонне Нияммангу такого насмешливого подтекста лишено. Наоборот, оно полно серьезного наглого пафоса. Хотя, как известно, от ума идешь в управдомы, а от наглого пафоса в профессора Сорбонны. “Этой забавой я пользуюсь очень редко, сказал Остап. – Представьте себе, что на жреца ловятся больше всего такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами”. В данном случае, на “знаменитого Африканского Историка” поймались такие передовые люди, как заведующие музеем Пушкина на Мойке и прочие пушкинисты. “Работа легкая, но противная, – сказал Бендер. – Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те же вопросы: “Почему в продаже нет животного масла?” или “Еврей ли Вы?”

Насчет масла не знаю, но насчет “еврей ли вы”, точнее еврей ли Пушкин, ответ дает, конечно, он сам. Пушкин не еврей, потому что он им не может, не должен быть. Он может быть эфиопом, негром, искумосом, монголом, татаринном, японцем, гималайским верблюдом... Кем угодно, только не евреем. Почему? Во-первых, он сам этого не

хотел. Этого ему еще не хватало при стольких врагах. Ну, мало ли, что сам не хотел. Рождение и родителей не по желанию выбирают. Даже Христос не выбирал. Отец, конечно, национальности не имеет. Но мать-то – еврейка. Ну, Христос – это общемировое. А Андрей Первозванный? Еврей из Вифании, покровитель России. “Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг”. Андрей – это все-таки тоже нечто свыше. А Пушкин – наш. И к тому ж писал “жид” и прочее. Ведь писал. Да, писал. Антисемит? Писал: “Русский глупый наш народ”. Русофоб? Писал всякое. Писал о своем враге Булгарине “Будь жид – и это не беда”. Писал:

“В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит,
Перед лампадою старик
Читает библию. Седые
На книгу падают власы”.

Оканчивает эти стихи:

“На колокольне городской
Бьет полночь. – Вдруг рукой тяжелой
Стучатся к ним. Семья вздрогнула,
Младой еврей встает и дверь
С недоумением отворяет –
И входит незнакомый странник.
В его руке дорожный посох”.

Этот при жизни Пушкина не печатавшийся отрывок – часть неосуществленного замысла о Вечном Жиде. По сути лживая, эта легенда привлекла однако Пушкина своим глубоким всемирным пессимизмом, своей мировой скорбью (Weltschmerz). Высшее, проникнутое сострадательной человечностью литературное проявление пессимизма, то, что свойственно сонетной лирике размышлений Шекспира и, конечно, Гамлету - достаточно вспомнить сцены на кладбище – и, конечно, Байрону, исторический пессимизм которого оказал сильное влияние на молодого Пушкина. А в первооснове библейские пророки: и Еремия, и Исая, Давид – псалмовик печальных всемирных истин, царь Соломон, трагическая зоркость Экклезиаста. Это было не только близко Пушкину, но отвечало его личному мировоззрению, личному мироощущению. Да, но... Но... Однако... Во-первых, Пушкин – воплощение русского духа, как сказал Достоевский в своей речи. Это не так. Если уж о духе, то Пушкин воплощение европейского духа. Как сказано, первый в России европеец, хоть в Европу его не выпустили. Может быть, потому и не выпустили, из зависти. Я думаю, по тайному доносу так называемых “друзей” не выпустили. И Пушкин, как известно, даже одно время намеревался бежать за границу. Хоть

я думаю, оказавшись за границей, он не менее Герцена в Западе бы разочаровался. И тем не менее в России он жить не мог. Знаменитое “Черт дернул меня родиться в России с умом и талантом”. Жить в России не мог, но Россию любил. Иного отечества, иной истории иметь и не хотел. Тут нет противоречия. Живешь ведь не в истории, живешь ведь не в культуре, живешь ведь не в природе даже, не отшельником ведь. Живешь в обществе. В российском обществе, с его врагами и особенно с так называемыми “друзьями” Пушкин жить не мог. Те, кто не выпустили Пушкина за границу по нашептываниям доброжелателей и друзей, его же, Пушкина, и погубили. Пушкин не исписался, как писал о том Белинский и другие. Навек пропало то, что мог бы создать зрелый Пушкин для России и для мира. Те всемирные шедевры. Погубило Пушкина, кстати, не правительство, а общество. У него с обществом были и политические разногласия еще большие, чем с правительством. Новопольскому, например, Пушкин поддерживал правительство, а не общество. Как они не понимают, что из Польши исходит такая же угроза России, как и от Наполеона 1812 года. Не понимали. Для этого Вяземский и прочие были слишком деликатно и прогрессивно воспитаны. Как нынешние не понимают еще угрозу Чечни, по-своему перекликающуюся с угрозой 1941 года. Пушкин был ясен и честен умом, не поддавшись ни прогрессивные утопии. Душой, глубиной, мыслями своими подобно мудрецам – библейским пророкам – пессимист. Сказывалось также и личное. Пушкин, в отличие от своих предков и родных, отца, брата, сестры, был попросту, по бытовому хороший человек. Конечно, не к прагам своим, не к мнимым “друзьям”, – такого уцененного христианства он не признавал, но к близким людям, к обычным людям. Хороший и очень одинокий, может, потому и одинокий, несмотря на внешнюю свою светскость. Женщины его не любили, несмотря на репутацию повесы, им же иной раз создаваемую, и донжуанский список, им же нередко вымышленный. Вымышлять незачем было, нелюбовь женщин часто говорит в пользу мужчины. Во всяком случае, знатные замуж за него идти не хотели. Да и не слишком знатная Гончарова пошла после колебаний. Что из этого вышло – известно. После гибели Пушкина она взяла фамилию второго мужа и похоронена как Ланская.

Все это личный пессимизм усиливало в духовную, библейскую, пророческую мировую скорбь Пушкина. Дмитрий Николаевич Анучин в своем антропологическом эскизе “А.С.Пушкин” пишет: “В один из моментов пессимистического настроения поэт назвал себя “потомком негров безобразных”. Может быть, за это обвинить самого Пушкина в расизме? Как “интернационалисты” пытаются обвинить Анучина в расизме за то, что он не верит в негритянское происхождение Пушкина, а считает это происхождение семитским. А когда ему (Пушкину) случалось чертить на бумаге пером свой профиль, то он старался

придать лицу выдающиеся вперед челюсти, толстые губы, покатым вниз подбородок – как у типичных негров. Конечно, далеко не всегда. Знаменитый автопортрет Пушкина, начерченный пером видимо в более уравновешенном состоянии, совершенно иной. Что-то в этом портрете и от библейских, острых носатых рисунков Микельанджело и Леонардо. Но дело не только в портретах. Дух Пушкина пророческий, библейский близок к Соломонову пониманию суетности мира, к мировой печали Иеремии, к огненному, обличительному гневу против нечестивых Исайи, предсказавшего Иисуса Христа. Недаром Дмитрий Николаевич Анучин искал в Абиссинии библейские корни и семитское происхождение. Впрочем, найти их можно гораздо ближе, а именно: в пределах бывшей Римской империи, в Османской империи, впоследствии в южных областях Российской империи, где много веков проживали книжники-караимы.

Но на основании сомнительных преданий и скверных анекдотов искали и ищут в совершенно другом месте, все в той же Африке, приходя в восторг от новейших открытий “знаменитого Африканского Историка” Нияммангу. Что же открыл знаменитый африканский историк, о чем он сообщил благородным слушателям-пушкинистам в своем сенсационном докладе, каких духов материализма и каких африканских слонов раздал? У Н.Брагинской сказано, что “знаменитый африканский историк” определил, что действительно в Африке есть такой город Логон на территории республики Камерун, откуда он сам родом. И что никаких городов в Африке с подобным названием больше нет, и значит, родиной Ганнибал является Логон, расположенный в экваториальной Африке. (Бурные аплодисменты пушкинистов.) Версия о происхождении Ганнибала “ныне уточнена специальной экспедицией в область экваториальной Африки, состоявшейся в апреле 1999 года”, – пишет Брагинская. Не знаю, каким образом была осуществлена эта экспедиция, на верблюдах или автотранспортом, но, надо признать, что не только книжная, а подлинная африканская пыль была поднята. Более того, как пишет Брагинская, участник экспедиции в африканскую загранику “редактор журнала “Наш следопыт” И.В.Данилов попробовал травку “лагум”, очевидно во время обеда, данного султаном Камеруна работникам русского посольства. Не знаю, что за травка. Может быть, наподобие кавказского тархуна, который едят к шашлыку. В африканской кулинарии есть экзотические блюда из жареных змей, омлет из яиц крокодила. Может быть, к ним едят травку “лагум”, ибо сказано – чем дальше в глубь континента, тем больше пряностей. От африканского блюда “вот” (так и называется – “вот”) льются слезы, так остро. Но согласно новейшим открытиям знаменитого африканского историка, г-на Гнамманку, он же Д.Нияммангу, Ганнибал родился гораздо глубже, где и растет эта травка “лагум”. “Именно она, – делает

ывод И.В.Данилов, – и дала название городу и реке Логон”. Таким образом, благодаря травке оказалась уточнена прародина Ганнибала. Эта версия была бы приемлема при одном условии: если бы с использованием новейших научных средств удалось бы обнаружить эту травку в эксгумированном прахе А.П.Ганнибала. (Такое, кажется, определили в останках пещерных людей). И более того, если бы палеоботаники доказали, что по крайней мере в тот период эта травка “лигум” росла только в районе озера Чад, т.е. в нынешнем Камеруне. Тогда А.П.Ганнибалу можно было бы даже присвоить посмертно звание князя, которого он так добивался в своем прошении, найденном сжатым и государыней недоверчивым.

К тому же в Камеруне, в городе Логоне Пушкину памятник неподвижен и рукотворный. Но это тоже, конечно, не доказательство того, что Пушкин родом из этих мест. Сколько видел я памятников Пушкину, где только их нет. В местах, которых нет на картах генеральных, Пушкин отмечен навсегда. Площадей Пушкина не меньше, чем улиц и площадей Ленина. И в Москве, и в самой даже глуши из разнообразного материала: каменного из местных каменоломен, металлических отливов из местных мастерских, гипсовых. Перед домами пионеров много “пушкиных”, видел почему-то даже перед роддомом в одной заштатной провинции. Видел в одной глухомани, как памятник Пушкину стоял совершенно забытый в маленьком, запущенном городском садике, выросшем травой, и козы у пьедестала бляели. Впрочем, этот памятник мне даже понравился. Что-то в нем было, в этом памятнике, к которому “народная тропа” заросла и лишь козы его созерцали. Сам памятник, конечно, во многом подобен массовым. Но атмосфера какая-то творческая, печальная. Что-то в этом одиноком памятнике показалось мне евангельским, что-то от одиночества Пушкина, наподобие одиночества Христа в Гефсиманском саду, что-то от Гамлета с черепом на кладбище. Не думаю, что африканский памятник в Камеруне столь же интересен. Наверное, из черного камня, официальной, на которой присутствовали представители российского посольства и получившие командировку в загранку пушкинисты. Речи говорили. Однако речей у Пушкина было много – надоело. Думаю, говорить более не о чем, пора переходить к резюме. Африканская гипотеза, как в ее эфиопском, так и ее негритянском варианте, основана на досужих вымыслах и нелепых анекдотах, которые В.Набоков, несмотря на свою все-таки непримиримость “африканству” Пушкина, называет идиотскими.

В то же время караимская гипотеза происхождения Ганнибала, а значит, и Пушкина, опирается на два неопровержимых и один трудно опровержимый факт. А именно: Ганнибала привезли в Россию из Турции. Это привез вместе с другими арапчатами русский агент в Турции Савва Чулушинский, причем арапы – не означает национальность, а скорей

должность. Арап – черный слуга. И наконец, русский антрополог Дмитрий Николаевич Анучин определил антропологический тип Пушкина как семитский, даже прямо говоря – еврейский. Отсюда, те кто не согласен, пусть оспаривают Пушкина у знаменитого русского антрополога. По дедуктивному методу Шерлока Холмса можно сказать: Ганнибала ни из какой Африки в Турцию не привезли. Он родился и жил в пределах Османской империи, т.е. был обычным турецким евреем-караимом.

А то, что за этой скромной, но убедительной гипотезой не стоит громких имен и высоких учреждений, помимо всего прочего, указывает на определенный старый предрассудок, глубоко укоренившийся в сознании и подсознании даже разумных и достойных людей. Что же говорить об иных, которых тоже немало, особенно же в наше время повсюду, также и в пушкиноведении. А высокие должности и высокие учреждения Российской Академии, американских университетов, а то и Парижской Сорбонны, в которых они сидят? Ну что ж, не место красит человека.

В Академии наук
Заседает князь Дундук
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?

В определенном варианте: оттого, что есть чем сесть. Но в пушкинской эпиграмме, ходившей в списках и направленной против вице-президента Академии М.А.Дондукова-Корсакова сказано более ясно и определенно: Почему ж он заседает? Оттого, что жопа есть. Конечно, эта часть тела есть у каждого, но далеко не каждый может ее использовать так ловко и хитро, как использовал “Дундук”, имя которого, благодаря эпиграмме Пушкина, стало нарицательным. А поскольку все расы равны, и в добром и в дурном, то цвет этой части тела, белый ли, черный ли или еще какой-либо, не имеет значения.

29.08.2001. Берлин

(Публикация Дана Горюхиной)

ПЕТУШИНЫЙ КРИК

Когда Горенштейн приступил к созданию романа «Кримбрюле», который он потом окрестил «Веревочной книгой», с ним произошло событие чрезвычайное. 14 марта 1999 года некто Посторонний (Потусторонний или Посюсторонний – неясно) вмешался в его писательскую работу и судьбу. Горенштейн, как обычно, сидел за письменным столом, писал. Разумеется, чернилами. Процессу писания чернилами он придавал значение таинства, мистерии. В романе «Полутчики», в самом конце его, главный герой писатель-сатирик Феликс Забродский произносит внутренний монолог о волшебном взаимодействии высококачественных чернил (непрененно почему-то синего цвета) с бумагой, также высокого качества: «Мне для праздничного свидания моего нужна только бумага высшего качества, только первого класса. Бумага гладкая, упругая, как молодая женская кожа, с крепкими волокнами из чистого хлопка или чистого льна. Эта бумага должна обладать также всасывающими способностями, купленная по привилегии, заграничная, северная, сделанная по старому скандинавскому рецепту, так что ею, возможно, пользовался и Кнут Гамсун, возненавидевший разум и воспевавший освобождение человеческой личности через безумие, через утонченное безумие».

А в «Хрониках времен Ивана Грозного» летописец-дьякон Герасим Понгородец также говорит об особом удовольствии для книжного писателя самого процесса писания: «Люблю я красоту дела письменного – чернильницу, киноварь, маленький ножик для подчистки неправильных мест и чинки перьев, песочницу, чтоб присыпать пером непросохшие чернила, а пуше всего – сидеть на стульце, положив рукопись на колени, и писать тонкословием со словами приятными...».

У Горенштейна, как я уже говорила, не было ни компьютера, ни даже пишущей машинки. Он считал, что только в процессе работы по-старинке, то есть пером и чернилами, зарождаются идеи и чувства. И хотя почерк у него был совершенно нечитаемый, рукописи у него вовсе не были торопливой скорописью. Напротив: каждое слово Горенштейн вырисовывал, как иероглиф.

Однако в полдень 14 марта некто Посторонний вырвал у Горенштейна из рук чернильницу и опрокинул ее на ковер в тот самый момент, когда писатель собирался отвинтить крышку, чтобы заправить чернилами авторучку. Даже не вырвал, а сильным толчком выбил чернильницу из рук. Рассказывая о случившемся, писатель вспомнил, конечно, известную легенду о Мартине Лютере. Великий немецкий реформатор доктор Лютер, живший в Ингелсберге, что неподалеку от Берлина, переводил «Библию» на немецкий язык и увидел перед собой однажды черта. Он запустил в черта чернильницей, которая однако пролетела мимо нечистого и ударилась о стену. На

стене замка до сих пор сохранилось чернильное пятно от брошенной проповедником чернильницы, которое непременно показывают туристам.

А у Горенштейна осталось большое чернильное пятно на ковре. Он подчеркивал, показывая мне следы происшествия, что на саму рукопись не пролилось, однако, ни капли чернил. Я даже запечатлела это чернильное пятно на ковре на фотографии, и в случае издания моих записок, мне хотелось бы эту фотографию продемонстрировать читателю.

Итак, Горенштейн сидел за столом, писал роман. В отличие от Лютера, черта он не видел, и не видел даже пуделя, в отличие от Фауста, который, как мы помним, тоже переводил Святое писание. Никого, как ему казалось, не искушал, не провоцировал (Фридрих полагал, что Лютер провоцировал нечистого своими текстами, о чем и написал в «Веревочной книге»). Да и чернильницу он не бросал. Некто был не видением, как у Лютера и Фауста, а силой. И эта сила выбила чернильницу из рук. «ФАУСТ: Не Сила ли – начало всех начал?» Возможно, нечистый, который неглуп, не сумев его, писателя, оклеветать перед Богом (Люцифер – это, прежде всего, клеветник – так считал Горенштейн, полагая, что свет, исходящий от Люцифера, ослепляет истину), выбил у него чернильницу из рук, дабы не повадно было дальше писать.

Надо, однако, сказать, что Горенштейн в тот момент, также, как Лютер и Фауст, работал над книгой. Только не как теолог-переводчик, а как литератор-комментатор. Он сравнивал «Введение» Достоевского в «Записках из Мертвого дома» с «Введением» Пушкина в «Повестях Белкина». Обнаружил переключку Александра Петровича Дворянчикова с Иваном Петровичем Белкиным. Впрочем, что там могло не понравиться нечистому? Может быть, сам несмываемый процесс писания чернилами, как писали старые мастера? Воистину неповторима графика писаний Гоголя, Толстого и в особенности Пушкина, говорил не раз Горенштейн. – Страничку пушкинского черновика можно было бы и в рамку вставить!

Уместно вспомнить и великую книгу Иова, в самом начале которой Сатана занимается подстрекательством, буквально вынуждая Всевышнего испытать праведнейшего из праведных. Эта сцена вдохновила, как известно, Гете на «Пролог на небесах» бессмертного «Фауста».

История с чернильницей оставила в душе писателя такой тягостный след, что он по прошествии трех лет, даже и в больнице ее вспоминал, уверяя себя и других, что темным силам свою слабость и страх ни в коем случае показывать нельзя, а наоборот, следует творить, тем самым уничтожая зло. «Непременно писать, – говорил он. – Гитлер был исчадием ада, стало быть, я должен о нем написать. Так, чтобы уничтожить». Горенштейн уже прочитал, «проработал» фантастическое количество материала о Гитлере. Он не только работал в библиотеках, но и бродил по «блошиным» рынкам, покупая одномарочные немецкие книжки нацистских времен. Лариса Щиголь и ее сын-музыкант в Мюнхене разыскивали модные американские и немецкие шлягеры тридцатых годов

для пьесы, и переводили на русский язык.

«Фильм Александра Сакурова «Молох» о Гитлере — несомненная фальшивка, — говорил Горенштейн. — Образ Гитлера неоправданно «занижен» и окарикатурен, тогда как это монстр крупномасштабный, требующий к себе такого же серьезного отношения, как герой-убийца у Достоевского, от которого Гитлер отличается разве что тем, что перенесенные в легстве страдания и унижения не украсили его, как это должно было бы быть, согласно концепции Достоевского, а наоборот, страдания эти обратились в невероятную злобу». Собственно, две сцены пьесы были уже им осуществлены. Замысел пьесы — «эволюция» персонажа (Гитлера) «от мелкого гнусного бесика до злого гения человечества.» Писатель подчеркивал, что пьеса необходима новому поколению, и что когда он ее завершит, то сразу же примется за пьесу о Пушкине, тайну которого он разгадал: «От черного ангела Гитлера — к светлому ангелу Пушкину!» Писатель был уже тогда болен, и я вспомнила даже сологубовские молитвенные речи: «У тебя, милосердного Бога, много славы, и света, и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил!»

Итак, две сцены пьесы осуществлены, и уже виделась ему неясно, еще в тумане, финальная сцена несокрушимого замысла, когда голова Гитлера на блюде, словно голова Олоферна, была отнесена для опознания его личному зубному врачу. Хотя нет, блюда не было. Это голова Иоанна Крестителя по требованию Саломеи, дочери Иродиады, была принесена Иродиаде на золотом блюде. Горенштейн же подразумевал командующего войсками Навуходоносора Олоферна, человека талантливого и беспопачного, не ведающего снисхождения ни к побежденному неприятелю, ни к мирным жителям. «Когда владыка ассирийский народы казнию казнил, и Олоферн весь край азийский его деснице покорил...», тогда осадил он город Вефулий, в котором жили иудеи. Однако иудеи решили сражаться до последнего и замкнули врата свои узкие замком непокорным и перепоясали высоты свои стеной, как поясом узорным. Решил сирап уморить жителей голодом и и жаждой. Тогда одна из жительниц Вефулии красавица Юдифь вышла из узорных ее стен, пришла в шатер полководца, смутила его душу победоносной красотой, опоила вином и его же собственным мечом отрубила ему голову. Она затем эту голову швырнула в мешок и вернулась в город. А в городе, на главной площади, окруженной плотной толпой горожан и воинов, народная героиня, красавица Юдифь вынула из мешка голову злодея и показала ее всем воинам и горожанам города. Таков позорный конец Олоферна. Голова, испре, обгоревший череп Гитлера, «поступила» к лечащему зубному врачу Гитлера, по иронии судьбы, представителю народа, который он намеревался истребить полностью. Иудей-врач каким-то образом уцелел и жил в 1945 году неподалеку от Эксишентстрассе, на параллельной улице. Я, к сожалению, забыла, как называется эта улица. Фридрих туда шведывался и говорил, что на месте дома, где жил легендарный врач,

стоит сейчас другой дом. Итак, советские солдаты принесли врачу для опознания предполагаемую голову Гитлера. Ибо только он мог по сохранившимся зубам и зубным протезам опознать фюрера. Судя по всему, у автора будущей пьесы намечена была торжественная финальная идея, не только ничего общего не имеющая с принижением и окарикатуриванием образа Зла, а наоборот, приближающаяся к неотвратимой, все возвращающей по кругу, судьбоносной греческой трагедии.

Еще в начале 2000 года Горенштейн задумал пьесу о Пушкине. (Мы говорили об этом много, я даже торопила его и говорила, что Гитлер может подождать, с чем Фридрих не соглашался.)

«Разумеется, – говорил он, – никто из любимцев вашей интеллигенции, включая Булгакова, не смог написать о Пушкине. Пьеса Булгакова «Последние дни» в принципе не могла состояться. Идея сделать пьесу о Пушкине без Пушкина, при всей ее оригинальности, была заведомо обречена на неудачу. Именно поэтому Вересаев отказался от совместной работы с Булгаковым над пьесой. А я сделаю, чего еще никто не сумел! Но для этого нужно два года работы».

Однажды писатель загадочно поведал мне, что разгадал тайну Пушкина. Подвел меня к пушкинскому автопортрету, висевшему у него в кабинете над столом, и спросил: «Ну, скажите, на кого похож Пушкин?» Станный вопрос – знаменитый профиль стал универсальной эмблемой, замкнутой только на саму себя. Можно сказать: похож на Пушкина, похож на Христа. Но не наоборот. Пушкин ни на кого не похож. (Многие литературоведы, между прочим, тоже так считают.) Но Фридрих дал мне понять, что сходство тут совсем иное: не с человеком, а с животным. Только вот с каким именно? «На петуха!», – сказал Фридрих после долгой паузы. «В самом деле, на петуха! – вдруг увидела я. – Но что из этого следует?» «А следует из этого, что Пушкин – это петушиное слово. Только прошу вас – это тайна, никому не говорите!» Впрочем, что стоит за «петушиным словом», для меня вначале осталось загадкой. Позже выяснилось, что в «тайну» посвящена еще Оля Юргенс. Они с Фридрихом вдвоем по японскому гороскопу выясняли даже, не петух ли случайно Пушкин. Оказалось, не петух.

Прошло некоторое время, и Горенштейн однажды снова указал глазами на пушкинский автопортрет и и сказал интригующе-загадочно: «Петух – птица мистическая». Игра в «тайну Пушкина» писателю, очевидно, нравилась и, возможно, даже настраивала творчески, потому что он и в этот раз, на мой вопрос о «мистике петуха» ответил весьма уклончиво. «Не исключено, что последняя сказка Пушкина – «Сказка о золотом петушке» – автобиографична». «Ну, это давно известно, – сказала я, – об этом ведь писала Ахматова. Она еще сообщала, что сюжет заимствован Пушкиным у Вашингтона Ирвинга, написавшего сказку «Легенда об арабском звездочете». Петух там тоже предсказатель, предупреждает о нападении врагов». На это Фридрих покачал головой и сказал: «А я

где-то читал, что двоюродный дед Ленина, известный ихтиолог Верещагин написал работу «Петух – птица мистическая» – о последней сказке Пушкина. Правда, работу ученый не завершил... Погиб при весьма неприятных обстоятельствах во время экспедиции в Индию. Тяжелая смерть...» «Но ведь рукопись, наверное, сохранилась, лежит в каком-нибудь архиве», – предположила я. Фридрих, продолжая меня интриговать, загадочно молчал. Несколько раз он позднее, опять же указывая на портрет, вспоминал евангельский сюжет, в котором Христос предрекает предательство апостола Петра до того, как петух пропоет в третий раз. А еще Фридрих говорил о петушином крике, предвестнике утра и солнца, которого страшатся злые духи и другие «ночные стороны» бытия – «Nachtseiten der Natur», как говорили романтики. Петух – символ чистоты и добра. Более того, вся символика, связанная с петухом, позитивная, соизидательная. Поэзия Пушкина – рассветный петушиный крик? Вероятно, такова была идея Фридриха. Вот почему после пьесы о злом гении Гитлере непременно следовало писать пьесу о светлом гении Пушкине!

Однако вот в чем вопрос: всегда ли петушиный крик обладает спасительной силой? В гоголевском «Вие» петушиный крик не спас бедного философа Хому Брута, как ни молился он истово и страстно. «Раздался петушиный крик. Это был второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы скорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в щелях и окнах». А Фома Брут уже лежал бездыханный. Но Горенштейн перешел в «петушиный крик». И заявил, что обязательно напишет пьесу о Пушкине, светлом ангеле, уничтожающем зло. Я же старалась забыть о печальных прогнозах врачей и считала, что на две пьесы должно уйти не меньше двух лет. Однако, когда известно, что остались считанные дни, отчаянно надеяться и на год.

А еще я не упускала из поля сознания рассказ Борхеса «Скрытое чудо» об ускользающей субстанции времени. В этой новелле отсрочка, данная свыше, казавшаяся целым годом, в реальности обернулась двумя минутами. Сюжет был вот какой. Автора неоконченной пьесы «Враги» Яромира Хладика фашисты должны были расстрелять 29 марта в 9 часов утра. Но за день до расстрела Яромир попросил у Бога отсрочку на год, чтобы дописать пьесу: «Если каким-то образом существую, если я не одна из твоих ошибок или повторов, то существую как автор «Врагов». Чтобы закончить эту драму, которая станет оправданием мне и Тебе, ну, да еще год. Дай мне его, Ты, владеющий веками и временем». Когда я читала эту захватывающую новеллу, то была поражена тем, как автор пьесы «Враги» разговаривал с Богом. Это была повелительная, богоборческая речь. Той же ночью, незамедлительно, драматург получил ответ на свою настоятельную просьбу. «Всепроникающий голос» сказал Яромиру Хладиду: «тебе дано время на твою работу». Во время расстрела,

который происходил внутри казармы (Хладик стоял у стены, а четыре солдата с нацеленными в него винтовками ожидали приказа), время вдруг замедлило свой бег. Казалось, прошел целый год. Капля дождя у виска остановилась на год, а Хладик мысленно дописывал пьесу «не для будущего, и даже не для Бога, чьи литературные вкусы малоизвестны. Тщательно, неподвижно, тайно он возводил во времени свой лабиринт». У драматурга на все хватило времени, даже на то, чтобы дважды переделать третье действие. «Он окончил драму: не хватало лишь одного эпитета. Он нашел его; дождевая капля поползла по щеке». В реальном же земном времени ему было дано всего две минуты для того, чтобы пьеса «Враги» появилась – пусть не на бумаге, но в Универсуме. Когда он окончил пьесу, залп четырех винтовок свалил его с ног. Надо сказать, что герою Борхесовской новеллы Яромиру Хладику перед разыгравшейся с ним трагедией приснился вещий сон, причем именно 14 марта (14 марта 1936 года). И таким образом «Скрытое чудо», по крайней мере в моем сознании, соединилось с историей с чернильницей Горенштейна, которая тоже произошла 14 марта.

Читал ли Горенштейн «Скрытое чудо»? В маленьком сборнике Борхеса, который стоял у него дома на полке, этой новеллы не было. Но в свое время мы подарили ему на день рождения трехтомник Борхеса, и «Скрытое чудо» было в одном из томов. Горенштейн принял три увесистых тома, как мне показалось, с некоторым предубеждением. Но потом выяснилось, что он стал зачитываться Борхесом, полюбил его и даже цитировал в «Веревочной книге». Надо сказать, что книги в качестве подарка – если только это не были книги «наших писателей» – он принимал с каким-то даже с благоговением. Не забуду, как я по случаю (проезжала мимо русского магазина Нины Гебхардт) купила ему томик стихов Афанасия Фета, и как он принял из моих рук этот томик, и какое у него было растерянное, трогательное выражение лица! Такая же реакция была и на томик стихов Иннокентия Анненского.

Служение книге, которое отличало Горенштейна в жизни, ощущаю и в описании переплета «Святого жития государя» в «Хрониках времен Ивана Грозного». Так, например, переплетчик Иван рассказывает, что книга будет «оволочена бархатом рытым, верх серебряный, чекан золотой, а на нем – четыре камня – два яхонта лазоревых да изумруд в гнездах, надпись чернью о владельце» и так далее, в этом роде. Последняя сцена романа («В книгописной мастерской») «усыпана» книжными красотами. Горенштейн, как дегустатор, пробуя старый драгоценный вина, говорит о книгописании, о религиозных книгах и увеселительных, о переплетном деле, о скорописи – шибко писанных книгах, которые трудно читать, и о растущей тяге к чтению у книголюбцев.

Однако вернемся к новелле Борхеса. Читал ли Горенштейн именно «Скрытое чудо», где драматургу 14 марта приснился вещий сон о предстоящей скорой смерти, но было потом дано дополнительное время для завершения писательского труда? Этого я не знаю. Но тема, трагедия

недописанного, неосуществленного (помимо пьес о Гитлере и Пушкине — также фильм о Бабьем Яре и фильм по пьесе «Играем Стринберга») — то то, о чем он думал и говорил до последнего дня своей жизни.

Событие с чернильницей 14 марта 1999 года, очевидно, сильно повлияло на развитие «Верево́чной книги». Как мне теперь кажется, в тот день к писателю пришло предчувствие конца. Он все чаще заговаривал о том, что, может быть, вообще не следовало начинать этот роман, что ноша, которую он взял на себя, непосильна. В одном из писем Щиголь, помеченном 22 декабря 2001 года, то есть, когда он был уже тяжело болен, он пишет: «Всё оттого, что я занимаюсь демонами (добровольно), и они мне мстят, не давая себя изобразить. Как мстили Врубелю и Черткову из «Портрета». Это призрачные — свидетельство сомнений Горенштейна, возможно, и давних, но о которых он до последнего времени молчал. Как некогда Генрих фон Клейст, который читал и перечитывал свою трагедию «Роберт Гискар». Восхищался и ненавидел её, и в конце концов покарал огнём, он тоже то восхищался, то ненавидел рукопись «Верево́чной книги». Безусловно, Горенштейн был приматичен до самых основ своей натуры не только в контактах с миром реальным, но и в авторских отношениях с художественным микрокосмом собственных произведений. И, конечно, он искал себе подобных на литературном Альбионе. Так, например, он отмечал, что вот у Пушкина складывались добрые отношения с собственными рукописями, тогда как Толстой по ненавидел своё детище, роман «Война и мир».

Но, думаю, о том, чтобы сжечь рукопись, писатель не помышлял. Он хорошо помнил, что Гоголь после того, как сжёг второй том «Мёртвых душ», раскаивался на следующее утро в содеянном и говорил, что его бес попутал. Впрочем, можно ли верить раскаяниям Гоголя? Вот что он сказал в «Выбранных местах переписки с друзьями» Тургеневу: «Если бы модно было воротить сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжёг её». Второй том Гоголь сжигал не однажды. Уже в 1845 году он бросал его в огонь, считая его несовершенным. В «Выбранных местах» Гоголь сообщает об этом вдохновенно и похоже, что он любит пламенеющими своими исписанными листами: «Как только пламя унесло последние листы моей книги, её содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком ещё беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным».

Второй том «Мёртвых душ» в 1851 году был вновь набело записан аккуратным почерком Гоголя в нескольких тетрадях, которые автор потом опять начал переписывать с тем, чтобы в ночь с 11-го на 12-ое февраля 1852 года предать сожжению, крестясь при этом непрерывно. «Надобно уж умирать», сказал он на следующий день Хомякову, — а я уж готов, и умру».

В отрывке из романа «Попутчики», который предлагаю сейчас читателю, обстоятельно описан один надгробный памятник. Это, по сути дела,

авторский идеал, если, вообще, так можно выразиться, говоря о надгробии. А невдалеке от любовно расписанного памятника я обнаружила ещё заявление-пожелание автора: «Я считаю, человеку желательно знать, где его похоронят, и желательно, чтобы он сам при жизни выбрал такое место. А статья приличным покойником в наше время всё тяжелей и тяжелей».

Писатель Феликс Забродский едет в вагоне поезда №27 Киев-Здолбунув со случайным попутчиком Чубинцом. Поезд останавливается в Бердичеве. Несмотря на ночное время, на станции слышны крики. Люди громко выкрикивают имена и фамилии – ищут и находят друг друга. Звали какого-то Чичильницкого. «Чичиков, что ли, в своем дальнейшем, ненаписанном Гоголем путешествии по России, в своем путешествии по третьей части «Мертвых душ» заехал в Бердичев и оставил здесь потомство от какой-нибудь красавицы-шинкарки, потомство, со временем преобразившееся в Чичильницких. Может, и сам Чичиков покоится здесь, на бердичевском православном кладбище... Может, покоится Чичиков под мраморным розовым крестом, утешенный, обласканный мраморным розовым ангелом в изголовьи могильной плиты? Или спит под чудесным памятником черного с синим отливом камня-лабродорита, на котором золотом вырезано его имя, отчество, фамилия, дата рождения и смерти, почти совпадающие с рождением и смертью самого Николая Васильевича Гоголя, жаль, так и не посетившего Бердичев, а отправившегося в свое тяжелое, печальное путешествие в Иерусалим».

В описании чудесного надгробия из черного с синим отливом камня-лабродорита слышится мне желание исправить, перечеркнуть сотворенное с могилой Гоголя. Могилу в 1931 году разрыли, прах без всякой надобности перенесли на другое кладбище и над новой могилой водружен был громоздкий памятник с надписью: «От Советского правительства». Между тем, в «Завещании» Гоголь просил не ставить ему вовсе никаких памятников. И. С. Аксаков, однако же, привез из Крыма на телеге камень, который показался ему «гоголевской голгофой». Крымский камень так и лежал мирно на могиле Гоголя на кладбище Свято-Даниловского монастыря с надписью из пророка Иеремии, высеченной друзьями писателя по предложению Погодина: «Горьким словом моим посмеюся» (из Иеремии 20, 8). Гоголь чтит ветхозаветных пророков. Он писал Языкову: «Разогни книги Ветхого Завета, ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило перед Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный суд Божий, что встрепенется настоящее». И в особенности почитал Гоголь страдальца пророка Иеремию, слезам которого люди не верили: когда он плакал, народ смеялся. Гоголю казалось, что он повторил судьбу библейского пророка Иеремии. Посмеялось над Гоголем и советское правительство, по распоряжению которого камень был убран, а потревоженный прах Гоголя перенесен на Новодевичье кладбище и буквально придавлен тяжелым соцреалистическим монументом. Фридриха беспокоил этот мо-

нумент. А еще он был расстроен тем, что могила Андрея Тарковского в Париже была залита бетоном. «Я думаю, вообще памятника Андрею не надо. «Оставьте только зелень», – последние слова Жорж Санд. То есть прижку. А тут покойного придавили бетоном».

В годовщину смерти Горенштейна (2 марта 2003 года) на его могиле установили памятник, небольшой, серого гранита. Камень как будто бы расколот, как будто и не памятник это, а разбитая скрижаль. А на скошенной плите кости скола – завет, слова из пророка Исайи: «О вы, напоминающие Господу, не умолкайте!» Именно этим призывом пророка Горенштейн начал свой роман «Псалом»: «Поняли люди через знамение – пылающие святой снежной белизной черные лесные деревья, – что после четырех тяжких казней Господних грянет пятая, самая страшная казнь Господня – жажда и Голод по Слову Господнему, и только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божиим Словом. И тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исайи: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!»

Фридрих Горенштейн умер 2-го марта 2002 года в 16 часов 25 минут, не прожив две недели до семидесяти лет. А между тем, он в последние годы, подобно своему герою Цвибышеву, буквально заболел идеей долгожительства. Идея эта, по мнению писателя, была проста, то есть являлась элементарной идеей. Гоша Цвибышев считал, что оригинальных идей вообще не существует. «Даже идея возглавить Россию оказалась массовой, – рассуждает он, – и лишенной личного смысла. – Поэтому я, наконец, ухватился за идею простую до того, что удивился, как это она обычно приходит в голову последней, а не первой, едва является сознание и желание выделиться из массы. Идея эта – стать долгожителем». Правда, герой романа намеревался стареть тихо, бездеятельно, тогда как Горенштейн ни на минуту не прекращал писательской работы, и кажется даже набирал скорость. Судите сами: за последнее десятилетие, не считая повестей, рассказов, небольших романов, – восемьсот страниц «Хроники времен Ивана Грозного» и еще восемьсот страниц «Веревочной книги»! Перед смертью он постоянно спрашивал с сомнением в голосе: «А правда – я немало написал?»

Примечания:

1 Тела Евы Браун и Гитлера, после того, как они отравились 30 апреля 1945 года, по повелению, были сожжены, и трудно было их идентифицировать. Правда, появились новые сведения: в черепе Гитлера (он находится по приказу Сталина в Москве в тайном архиве) найдены следы пулевого ранения.

2 Парифраза пушкинского отрывка (или неоконченной поэмы) «Юдифь».

3 Речь идет о Большом автопортрете Пушкина из Ушаковского альбома. 4 Бердичевский, (слегка интерпретировал его), и по просьбе Фридриха, сделал для него копию.

5 В продиктованных Фридрихом перед самой смертью главах «Веревочной книги» был сюжет о Веретенникове, его работах и гибели (его съел бенгальский тигр). Однако «тайны Пушкина», вернее, каковы были конкретные замыслы (о всей ли жизни поэта пьеса или о последних годах) Горенштейн мне так и не открыл.

6 Ф. Горенштейн, «Сто знаиц?»

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Карл Абрагам
Марина Авербух
Леонид Бердичевский
Михаил Верник
Марлен Глинкин
Ольга Збарская
Мальвина Зор
Маргарита Их
Яна Кутин
Михаил Левин
Марк Лурье
Семён Лурье
Станислав Львович
Генриетта Ляховицкая
Олег Никогосян
Анна Осмоловская
Анжелла Подольская
Любовь Рейнгач
Леонид Сысолетин
Вера Фёдорова
Георгий Хлусевич
Альфред Ходорковский
Марк Шейнбаум
Генрих Шмеркин
Давид Яновский

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

Поезд Берлин-Киев-Одесса прибыл по расписанию. Станционные часы показывали десять минут седьмого. Михаил Ефимович Рогожин – высокий, чуть сутуловатый пожилой мужчина, вышел из вагона и направился в камеру хранения. Родных у него в городе не осталось, а будить своих друзей в столь ранний час он посчитал неудобным. Освободившись от увесистой сумки, он вышел на привокзальную площадь и сел в трамвай. Доехав до третьей станции Фонтана, Рогожин вышел и направился по знакомому адресу. Он прошёл один квартал, другой, завернул за угол и вышел на Малую Франжереиную. Это была его улица. Здесь, в доме 49, прошли его детство и юность. Майское утро встретило гостя пышным цветением акаций и суматошным криком птиц. Безлюдность улицы лишь подчёркивала торжественность встречи, предназначенной, вроде бы только для него.

Перед последним «рывком» Михаил Ефимович остановился, приосанился, поправил галстук и продолжил свой путь на встречу с прошлым. Однако, чем ближе он подходил к своему дому, тем сильнее росло в нём состояние внутренней тревоги. «Вот дом сорок седьмой. А дальше?» Дальше – ограждение. То место, где когда-то стоял их дом, было огорожено забором. Из-за него доносился надрывный рёв моторов, перемешанный глухими ударами и скрежетом каких-то механизмов. В одном месте доски забора были оторваны, и в образовавшемся проёме Рогожин увидел полуразрушенный родительский дом. От бывшего пятиэтажного здания старой кирпичной постройки осталось только два этажа. Мощное металлическое литое ядро, подвешенное к подъёмному крану, раскачивалось и ухало по стене. После двух-трёх ударов часть стены обрушилась. И так несколько раз. Затем ковш экскаватора забирался в нутро дома и доставал оттуда, поднимая облако пыли, куски штукатурки, лом кирпича, дранку, мусор и прочий хлам, оставленный прежними хозяевами. Содержимое ковша с грохотом опрокидывалось в стоящий неподалёку самосвал. На смену загруженной машине подъезжала пустая.

Каждый удар по стене причинял Рогожину физическую боль. «Вот тебе и...» – сказал он, – опоздал». Михаил Ефимович ослабил удавку галстука, вытер пот со лба, порылся в кармане, достал из тюбика какую-то таблетку и сунул её в рот. Между тем экскаватор продолжал своё дело, доставая на-гора вместе с мусором различные дикие предметы: старые жаровые утюги, стиральные доски, велосипедные покрышки, банки из-под краски, грабли и даже пионерский горн. Рогожин понимал: надо уходить, но продолжал смотреть как заворожённый на эти предметы, пытаясь определить по ним их хозяев. «Вот погляжу ещё немного, – с грустью подумал Рогожин, – и пойду». Между тем ковш экскаватора подхватил очередную порцию строительного мусора. Рука механизма развернулась и не спеша понесла ковш

к самосвалу. На сей раз из кучи мусора вызывающе торчала подставка для ног от гинекологического кресла. Ноги Михаила Ефимовича стали ватными; он не мог поверить глазам своим: ведь то, что он увидел, принадлежало когда-то ему; он принёс эту подставку домой, вернувшись однажды со сбора металлолома. Рогожин присел на штабель досок, положенных вдоль тротуара, и ушёл в воспоминания: «Как же это всё начиналось?»

Миша Рогожин рос крепким мальчиком и рано начал интересоваться женщинами. Когда ему было три, он заманил в раздевалку детского сада Вальку Соколову, которая была к нему равнодушна, и потребовал: «Покажи письку!». «Зачем тебе?» – спросила девочка. «Покажи, говорю!». Валька несмело стянула трусики и Мишка увидел внизу живота разделённый пополам холмик. «А где пипка?» – разочарованно спросил мальчик. Валька пожала плечами, но продолжала стоять так ещё некоторое время, а затем быстро натянула трусики, поправила подол и убежала из раздевалки, сказав напоследок «Дурак». Реплика относилась скорей всего к вопросу любознательного мальчика, спросившего, нет ли у девочки пипки.

В пять лет Рогожин уже знал буквы и умел по слогам читать. Однажды, когда они гуляли с мамой по Большой Арнаутской, Миша увидел на одном из домов табличку: «Врач-венеролог Изаксон». «Мама, а что такое венеролог?» – спросил сын. Мама не была застигнута врасплох и поделилась с сыном своей версией об этой врачебной специальности: «Вот если ты, Мишенька, не будешь каждый вечер мыть свой перчик, то он заболит, и тебя придётся отвести к венерологу». Мальчик хорошо усвоил мамины рекомендации и в течение всей своей жизни к венерологу ни разу не обращался.

В шесть лет он пришёл домой и радостно сообщил: «Мама, я буду гинекологом». «Господи, сыночка, – запричитала мама, – где же ты таких слов набрался?» – «А что, мама? Вон тётя Фира с пятого этажа говорит, что зубные врачи и гинекологи при всякой власти хорошо жили». – «Прекрати, Миша, – сказала мама повзрослевшему сыну, – во-первых, что это значит «при всякой власти», а, во-вторых, если уж на то пошло, то профессия зубного врача на мой взгляд гораздо лучше». – «Мама, ну как ты не понимаешь, что я хочу лечить тётей». – «Да, а кто будет лечить дядей? Вот зубной врач лечит и тётей, и дядей, и даже детей и хорошо зарабатывает, как наш дядя Боря, например». На это у Миши были свои резоны: мальчик неоднократно слышал разговоры отца с матерью, что дядю Борю уже не раз куда-то вызывали и спрашивали, нет ли у него золота. «Не хочу быть зубным врачом, – раскапризничался Миша, – хочу гинекологом». – «Ладно, сынок, – примирительно сказала мама, – пусть будет по твоему, но сначала надо окончить школу».

Учился Рогожин хорошо и со своей мечтой стать гинекологом никогда не расставался. Некоторые проблемы возникли у мальчика при изучении ботаники, когда учительница рассказала детям о бесполом размножении растений. После этого урока Миша несколько ночей не спал: «Надо же, ну разве такое бывает?». Зато на другом уроке, когда Анна Ивановна рассказывала о тычинках и пестиках, у Миши вопросов не возникло. Получив в начале восьмого класса новенький учебник «Анатомии и физиологии человека», Рогожин тут же набросился на главу «Оплодотво-

рские» и вечером за чаем рассказал содержание этой главы родителям. В девятом классе классная руководительница объявила о сборе металлолома. Собравшему больше всего лома была обещана путёвка в пионерлагерь «Орлёнок». Миша старался изо всех сил: уж очень ему хотелось получить этот приз. Мишин папа работал в Палате мер и весов и принёс сыну две негодных гири. Миша с напарником притащили на школьный двор почти метровую рельсу. С теми двумя гирями оказалось больше двадцати килограммов. Одним из последних со своей ношей пришёл на пункт сбора металлолома Витька Свистунов из параллельного (б) класса. Мишка остолбенел, увидев под мышкой у Витьки подставку для ног от гинекологического кресла. «Где взял?» – выдохнул Миша, находясь в состоянии близком к обморочному. «Где взял, где взял; нашёл!» – огрызнулся мальчик, так как кроме этой подставки других железяк не нашёл. Оказалось, что Витька стащил эту вещь со двора родильного дома. Там была целая куча старых кроватей, подкладных суден и гинекологических кресел, предназначенных на списание. Но забрать с собой ещё что-то мальчик не смог: во двор вышел какой-то дядя и прогнал Витьку. «Давай меняться», – предложил Миша, ещё не веря в возможную удачу. Поездка в пионерлагерь при этом утратила для мальчика какое-либо значение. Витька с радостью согласился. При обмене Рогожин оговорил себе право на две папины гири: надо было хоть что-то сдать в металлолом, чтобы не получить двойку по труду. А вот что делать с подставкой от гинекологического кресла Рогожин пока не знал. «Эту вещь можно хорошо спрятать на чердаке», – подумал Миша. Он так и поступил: выбрал время, когда на чёрном ходе никого не было, пробрался на чердак и зарыл подставку в большой ящик, наполненный песком. «Пусть лежит до лучших времён», – рассудил Миша, – может быть со временем удастся по частям собрать полностью гинекологическое кресло».

Успешно сдав экзамены на аттестат зрелости, Рогожин подал документы в медицинский... и не прошёл по конкурсу. «Нет, – подумал молодой человек, проигнувший от корки до корки, и не по одному разу, учебник гинекологии, купленный им по случаю на одном из книжных развалов, – буду поступать на будущий год, а пока пойду работать санитаром в родильный дом».

Дома Мишу успокаивали, как могли, а мама сказала: «Чем пропадать голу, шёл бы ты, сынок, в геолого-разведочный. Это же так романтично, ничуть не хуже гинекологии. Будешь искать золото, алмазы, а если повезёт, кто знает, может быть и клад найдёшь». Через пять лет Рогожин получил диплом геолога и уехал на Чукотку в свою первую экспедицию.

Внезапно наступившая тишина – это рабочие ушли на перерыв – вернула Михаила Ефимовича в день сегодняшний. Держась одной рукой за поясницу, он заставил себя встать. Взглянув ещё раз на руины старого, теперь уже ничейного дома, подумал: «Зря я сюда пришёл, не стоит возвращаться в прошлое». Затем поднял руку и остановил проезжавшее мимо такси.

Ты меня любишь?
Очень...

М. Цветаева

«Ты меня любишь?...Очень»...
Был ответ. И опять тишина.
Всё ли можно прочесть между строчек?
Есть слова, что пьянят без вина...

«Очень...» – это как будто так много.
Но прислушайся, как плачет «О»!
Словно стелет разлуку дорога,
Начинаясь почти под окном.

«Очень» – очи твои открывает.
Посмотри! Проглядеть не посмей.
Календарь по листку отрывая,
Стал ли ты и нежней, и смелей?

Очевидное «очень» – не так ли?
Но прислушайся: – Слышишь – тук-тук.
Это тихо. Упорно. По капле
Замирает любви нашей звук».

HEPPY END

Вы помните.
Вы всё, конечно, помните!
С. Есенин

Вы знаете! Вы всё, конечно, знаете!
Как Вы виновны предо мной!
Как Вы, всегда такой замаятный,
Сулили Рай и с солнцем и с луной...

Как Вы словами и утехами,
Меня втянули в страшный круг.
И как понять? Не на потеху ли,
Себя назвали: «Милый друг».

И что в итоге? Заблужденье?
Или расчётливый обман?
Иль я, в угоду настроению,
Вновь угодила в Ваш капкан!

Уйдите, я прошу. Пожалуйста,
Не говорите лишних слов.
Не говорите мне о жалости.
Ни слова больше про любовь!

Мне трудно Вам найти прощение.
И не пытаюсь. Не хочу...
Была я Вашим развлечением.
Но это мне не по плечу!

ФЕВРАЛЬ

Февраль.
Достать чернил и плакать.
Б.Пастернак

«Февраль. Достать чернил и плакать».
Озноб и авитаминоз...
Далёко мартовская слякоть,
И не кончается мороз.
В пустой постели грелки скучной
Недолго водное тепло.
И нет капли однозвучной.
И не всегда в душе светло.
Но впереди – Весна! Я знаю.
Хочу иль не хочу... Хочу!
И Ты вернёшься. Скажешь: «Каюсь».
И вновь раскинешь шёлк-парчу.
И будешь думать горделиво,
Что «искупил» и «заслужил».
Но кто меня заставит, милый,
Забить мороз! То – выше сил!

ОЖИДАНИЕ

Брошена. Придуманное слово...
А.Ахматова

Я никем ещё не брошена.
Мной никто не пренебрёг.
По душе не запорошенной
Нет тропинок и дорог.

Но тоскует тело женское,
Не успевши женским стать,

Той обидою вселенскою,
Что трагедии подстать.

Заплуталась -- на опушке --
Не успела в лес войти.
И остались на подушке
Слёз тоскливые пути.

Верить хочется. Не верю.
Тускло в зеркало смотрю...
Почему? Когда? Но двери,
Так и быть, приотворю.

* * *

Я погрузилась в Интернет...
Закрыла окна, щели, двери.
В них не проникнут люди, звери,
Ни солнце и ни лунный свет.
И в электронном мраке том
Я копошусь, ища ответа...
Но бестолковые советы
Я получаю. Целый том.
Никто опять не говорит,
Как без тебя мне жить, любимый,
Как спать, как есть? Невыносимо
Мне в Интернет одной ходить.
«Мы все прекрасны несказанно» —
Ты мне шептал. Прошла пора,
И мой компьютер, как вчера,
Мне бесполезно врёт с экрана...

НАЗАД НА ПОЛСТОЛЕТИЯ

Ночь на дворе. Да вот не спится.
В глазах стоят родные лица:
В кипе и талесе мой дед
Творит субботнюю молитву,
И бабушка чуть слышно, скрытно
За дедом повторяет вслед.

Отец в углу газетой занят,
А мама подаёт обед,
И ветер вдалеке буянит.

На подоконнике свеча.
Вечерний мрак в окно крадётся.
Наливка в стопки робко льётся.
Ломает халу, дед шепча...

И всё...
Попала в глаз ресница.
Подушка стала горяча.
Пора уснуть. Да вот не спится...

01. 07. 04.

Из цикла «Листья»

А листья шуршат и от ветра полощутся.
И вот их прибило в ближайшую рощицу,
Но лишь на мгновение.
Друг дружке поведали тайны сердечные
И вновь устремились в движение вечное –
Бродяги осенние.

В дороге им встретилась речка болтливая
И берег покатый с поникшею ивою,
Беседка тенистая.
Здесь может к поэту прийти вдохновение...
Но дальше помчались они, тем не менее,
Вращаясь неистово.

Их всё занимает. Они любопытные.
Ничто не таят. Перед всеми открытые
До грошика медного...
Я также мечтаю без успокоения
По жизни лететь, одержимый движением,
До вздоха последнего.

Ноябрь, 2003

О ЗИМЕ

Опять зима явилась к нам.
Покрыла простынёю белой
Земли распластанное тело,
Похоронив осенний хлам.
Повисла клочьями с дерев,
Тесьмой карнизы оттенила,
Как-будто весь запас белила
В её бездонный брошен зев...
И тут же зимней сказки грусть
С тобой мы ощутили разом,
Мгновенно сняв веселья спазм.
Сопровождал нас снега хруст.
Всё пролетело как во сне.
Зиме пришла пора иссякнуть.
Растаял снег. Просохла слякоть,
Дорогу уступив весне.
А что весной? Сведёт с ума.
Возьмётся шекотать нам нервы.
Мы отдадимся этой стерве.
Спасёт нас, как всегда, зима.

Февраль, 2004.

ОЖИДАНИЕ

Всё решает только миг,
Только случай:
То покажет нам язык,
Гад ползучий,
То мелькнёт он, с виду тих
И покорен,
То обрушится под дых,
И – под корень.
Вроде, кажется, возник
Этот лучший,
Ожидаемый наш миг,
Редкий случай.
Но, увы. И снова ждём
Миг желанный:
Почью, вечером и днём
Ждём обмана.

МОЛИТВЕННЫЕ СОЗВУЧИЯ

Перебираю, как чётки, я
Длинные дни и короткие,
Что в моей памяти ожили...

Боже мой!

Много их было ли, мало ли,
Штили сменялися шквалами.
Были добычей иль ношею...

Боже мой!

Стали кроваво-закатными
Прошлого вечными пятнами,
Дрожью, владеющей кожей...

Боже мой!

Хоть и остались, не странно ли,
Настежь открытыми ранами
Дни те, иного дороже мне...

Боже мой!

28.06.04.

* * *

В темноте кромешной шарящие тени
тишину утюжат.

Бродит цокот трости слепо по ступеням,
ищет путь наружу.

Тяжкое усилие одолеть бы надо
и не оступиться.

Сбросить наваждение жалящего взгляда,
острого, как спица...

Уж слышны за дверью шепоты каштана,
перекличка, пенье.

Ноздри раздражают как дурманом пьяным
запахи сирени.

В виде поощренья от судьбы б дожидаться
счастья – пусть бы клочья,

Да еще на память белый цвет акаций
в судороге ночи.

18. 06. 04.

ЛУНА (сонет)

Ночной, с прищуром, глаз небесного циклопа
надменен и глядит с презреньем, свысока:

вот море, лес и дол, вот шумная река,
а вот – Америка и Азия с Европой.

Так еженощно, плавно, многие века
кружится он вокруг земли калейдоскопа –
всё замечает вплоть до мелкого микроба.
До недостойного, казалось, пустяка.

О том, что там творят и вытворяют люди,
он знает наперёд, что в результате будет,
но не даёт совет – пусть сами жизнь вершат.

Кто дружбу и любовь, вражду и неприязнь
воспримет как судьбу и примет невпопад –
всевидящим своим он поглощает глазом.

ЭТЮД С НАТУРЫ

Два ветра с двух сторон
ворвались в крону клёна.
Спугнули двух ворон,
что каркали влюблённо.
Застигли птиц врасплох,
и те, не ожидая,
большой переполох
подняли в птичьей стае.
На разных голосах
они защебетали,
свой показав размах
протеста и печали.
И этот шумный хор,
галдящий возмущённо,
был всем ветрам – укор,
чтоб не касались кроны.

* * *

Меня деревья будят по ночам,
стуча ветвями по оконной раме.
И всякий раз настойчивей, упрямей
одно и тоже что-то бормоча.

И, как всегда, поставлен я в тупик –
деревья просят у меня защиты.
Но окна, слава Богу, что закрыты,
и если я открою их на миг,

деревья тотчас же ворвутся в дом,
и мне оставят только тёмный угол,
в который я забьюсь, как робкий гном, –
Вот в это выльется моя услуга...

Я это знаю. Это не впервой.
Впускал в свой дом и душу много люду,
что после потешались надо мной
и шарили, как тень, за мной повсюду.

ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ

Тверда осенняя походка.
Всегда её приметы чувствуем...
И свежим пирогом с капустою
Закусываем горечь водки.
Всё хорошо...Идём по кругу.
Здесь, на обжитом нами, острове,
Где ощущение жизни острое
И мы терпимее друг к другу.
На мир глядим как будто в лупу,
Чтоб виделось всё грандиознее
И твёрдая походка осени
Не выглядела б слишком скупой...
Того, что раньше было, хватит
На много лет... Не надо сетовать
И осень клясть с её приметами,
Она, как прежде, будет кстати.

24 ноября 2003г.

БАЛЛАДА

Кто-то скачет вслед за мною –
череп набекрень,
с кашлем, с поступью кривою, –
верно, это тень?
Он в торжественном наряде –
в чёрный плащ одет,
злость кипит в безглазом взгляде, –
может, это бред?
Он рукой коснуться хочет
моего плеча,
под покровом лунной ночи
что-то бормоча.

Всё равно меня догонит
он когда-нибудь.
В вечной яростной погоне
оборвёт мой путь.
Я стараюсь в лучшем виде
тот отсрочить день.
Хоть уверен, что не выйдет
уничтожить тень.
Кто-то скачет вслед за мною —
пыли круговерть,
на плече с большой косою, —
верно, это смерть?

Из цикла «Рассказы из местечка»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Интересно, кто сказал, что в человеке красота – это не важно? Красивые мужчины берут красивых женщин, женщины – богатых и красивых мужчин. Так кто же мог сказать, что красота – это не самое главное? Может, это были некрасивые люди? А может, те, кто всем завидует? Действительно, красота уйдёт, годы возьмут своё, а то, от чего мы убегали, окажется, находилось рядом с нами и мы, такие умные, этого не замечали... Возможно, правы те, кто женится на некрасивых. Как правило, они не будут изменять. (Правда, бывают и исключения!). И потом, за годы, проведенные вместе, привыкнешь к внешности и к старости не испугаешься. Пускай боятся те, кто заснёт с красавицей, а проснётся с Ягой-Ягой. Они ведь искали красоту, а она – не вечна!

Этот рассказ для тех, кто ещё не решил: что для него главное и что вообще в человеке главное.

Представьте себе большую еврейскую семью, где дочки на выданье, а женихи обходят дом стороной. Дочки терпят до поры до времени, а потом, угрожая крайними мерами, заставляют родителей обращаться к сводне или, по-еврейски, – шотхенте. Специалисты высокого класса, шотхенте, пережили не одно местечко. Они совершали иногда чудеса. Именно такое чудо нужно было совершить в нашем местечке. Узнав, кого надо было выдать замуж, шотхенте принялись за работу. Пусть ищут...

А я расскажу вам кое-что о невесте и немного о женихе. Я ведь знаю, как всё началось и чем всё закончится. Но пока это только между нами...

Всевышний наградил семью невесты высоким ростом. Самый маленький член семьи имел 1 м 87 см и это в 12 лет. Мужчины были кровельщиками и ходили гордо задрав головы. Они любовались своей работой и заодно смотрели, что ещё можно отремонтировать. Жили они хорошо... Но этот рассказ не о них, а об их дочке по имени Соня. Она была старшей из трёх сестёр и двух братьев. И потому была первой на выданье. Она была длинной и худой, как оглобля, и к тому же плоской как утюг. Во время приговора она ещё и гундосила, поэтому получила прозвище Сонька де Гундос. При таком росте и прозвище выйти замуж в маленьком местечке было всё равно, что стать доктором. Сводня, увидев Соню, вспомнила сестру в молодости и решила, назло всем, найти ей жениха. Сводня, она же шотхенте, перевернула всё местечко. Женихи, узнав о ком идёт речь, прятались от Сони, как от призыва в армию. Но сводня сделала всё и даже немного больше – она нашла жениха.

Ираки, как известно, заключаются на небесах. Кого же Всевышний

предназначил для Сони?

Кто тот счастливчик? Не знаете. Тогда слушайте дальше. Такого вы ещё никогда не слышали.

Семья жениха была маленького роста. Самый высокий достиг 1 м 59 см. Мужчины всей семьи были столярами или как по-вашему – плотниками. Зарабатывали они хорошо, так как делали гробы. Они были гробовщиками высшего класса. Жениха звали Сёмой, и у него были самые золотые руки во всей семье. Сёма был молчаливый, ведь делая гробы, он больше думал, чем говорил. Но и этого было мало. Он недавно освобождился из тюрьмы. Как говорила об этом его мама: «Эр ослободился фон дем допер, он там сидел, эр гевейн а политический».

Как же можно такого взять в хорошую семью? Даже не глядя на то, что его мама работала в булочной и была «а ударник фон работы» и висела на стене...

Но встреча была организована, и Сёма с мамой пришли на обед. Все соседи собрались вокруг дома и с нетерпением ждали, чем всё это закончится. Им было жаль Соню и они желали ей счастья. Сёма с мамой вошли и сели напротив Сони и её родителей. На столе было всё, что можно было купить в местечке, и даже селёдка из Одессы. А это что-то да значило. Селёдка была деликатесом и ценилась выше, чем икра. Это должно было произвести впечатление на Сёму. Как вы уже знаете, Сёма был неразговорчив и, возможно, поэтому выжил в тюрьме.

На все вопросы отвечала мама. Она расхваливала Сёму за его золотые руки и с гордостью подчёркивала то, что он делает такие гробы, в которых приятно лежать, и никто ещё не жаловался на Сёмину работу.

Сонина мама отвечала, что её дочка хорошая хозяйка и за её спиной любому мужу будет хорошо. Все посмотрели на Соню и утвердительно закивали головами. Её отец, Руслан, высоко подняв голову, смотрел в потолок и с гордостью думал о том, что у Сёмы, с его золотыми руками, нет и никогда не будет такого инструмента, как у него. Руслан засомневался – хороший ли плотник Сёма? Ведь без хорошего инструмента Сёма ничего не стоил. Обед продолжался. Все говорили громко, и каждый гордился своим ребёнком. Соня начала привыкать к Сёме, а Сёма уже твёрдо знал, что Соня ему нравится. Разговоры стали утихать, и все взглянули на молчавшего до сих пор Сёму. С самого начала у Сёмы в руках было что-то, завернутое в газету, с чем Сёма не расставался весь вечер. Когда все замолчали, мама сказала Сёме: «Сёмочка, скажи хоть два слова!» Но Сёма не произнёс ни единого слова. Вместо этого, он встал и подошёл к Руслану. Все замерли. Ведь Сёма сидел в тюрьме и никто не знал, на что он способен. Но Сёма развернул газету и вынул из неё красивую деревянную ручку для молотка – подарок Руслану в знак глубокого уважения. Руслан взял эту деревянную ручку и долго её рассматривал. Он вертел её в разные стороны, затем почему-то погладил,

с удивлением посмотрел на Сёму и понял, что у того действительно золотые руки и он хороший плотник и за его спиной Соне будет хорошо. Руслан обнял Сёму и поцеловал. Руслан дал согласие на брак. Все стали поздравлять друг друга. Все были счастливы. Сёма подошёл к Соне и они взялись за руки. Крик «Мазл Тов» был услышан всем местечком.

Как вы уже знаете, свадьбы у нас справлять умели. Гуляли все. Сёма и Соня зажили хорошо и счастливо. Дети стали появляться, как грибы после дождя. Как оказалось, у Сёмы не только золотые руки, и Соня умела это ценить.

Вот вам ещё одно доказательство, что красота хорошо, но это не самое главное. Важно, чтобы человек был хороший. А так, чтоб красивый и хороший, бывает крайне редко и не в нашем местечке.

Вам, наверное, интересно, за что Сёма попал в тюрьму и стал политическим? Так вот: умер однажды один из партийных чиновников. Сёме, как специалисту, заказали сделать ему гроб. Сёма, не видя покойника, сделал гроб среднего размера, стандартный. Но чиновник оказался выше стандарта. Гроб оказался коротким. Чиновник не помещался, как ни старались его соратники по партии. Получилось то, что он не лежал, а как бы полусидел в гробу.

Сёме не простили ошибки и пришили дело. Так он стал врагом народа, политическим и получил десять лет тюрьмы. Не верите? Так ведь сажали и за меньшее!

РЕЗВЫЙ

Жизнь в местечке стала скучной: многие евреи переехали в большие города и оттуда стали уезжать за границу. Так случилось и с моей большой мышпухой.

В каждом городе есть памятники, к которым с большим уважением относятся все граждане и даже милиция. В нашем местечке таким памятником был Фишел. Он был последним из своего рода, который был предан местечку и его жителям. На вопрос, почему он не уезжает, Фишел, в отличие от других евреев, отвечал: «Если я уеду, кто будет здесь работать?»

Можно было подумать, что работал он один, а другие с удовольствием наблюдали за ним. Но все знали, что он говорит неправду. А правда была в том, что всю свою жизнь Фишел был связан с лошадьми. Они были членами его семьи, их было много, но он пережил их всех.

О них, его лошадях, ходили легенды. Ни один цирк не мог похвастаться таким умными лошадьми. Кони понимали Фишела с полуслова и полувзгляда. Ему стоило только посмотреть в их сторону, и они либо ржали от счастья, либо накладывали огромные кучи навоза со страха.

Фишел был их царём, и никто не смел подойти к нему близко. Его кони сразу же превращались в зверей и могли затоптать любого. Как

же ему, царю, было не любить их? Он мыл их в речке, давал им сено, гладил, целовал и, самое главное, разговаривал с ними. Они, его кони, были учёными и понимали три языка: русский, украинский и идиш. Ну, скажите, у кого ещё были такие кони? Как же он мог уехать. Он насквозь пропах ими, и ни одна баня не смогла бы смыть этот душистый аромат, знакомый ему с пелёнок. Он был извозчиком в третьем поколении, а это почти что генерал-извозчик. Можно было бы много написать о разных приключениях, связанных с ним и его «солдатами», но я расскажу только два случая.

В то время Фишел был ещё молодым красивым парнем, за которым бегали девки. Он был горд и неприступен. Всё свободное время он проводил с лошадьми. Он любил свою работу и она, работа, была для него утехой. В те годы был у него конь по кличке Резвый, и кличка эта вполне подходила ему. Это был бешеный конь. «А мишигенер», как любил говорить Фишел.

Конь наводил страх на всех, он не стоял на месте ни минуты, – всё время прыгал и скакал. Конюшню он часто превращал в кучу дров, за что Фишел его часто наказывал. Во двор могли войти только сумасшедшие, поэтому двор всегда был пуст, если же люди приходили посидеть, Резвого уводили подальше. Но однажды, случайно забыв об опасности, во двор пришёл Ицхак.

Он был здоровым и ничего в жизни не боялся. Кони, с их повадками, были ему знакомы. Но обычные кони, а это был Резвый. Войдя во двор, Ицхак крикнул: «Фишел!» и тут же увидел или, вернее, почувствовал, как на него несётся что-то чёрное и огромное. И это могло стать последним, что увидел бы он, потому что Резвый, услышав «Фишел», подумал, что его царю угрожает опасность, решил тут же покончить с негодяем. Он подскакал к Ицхаку и занёс над ним передние копыта. К счастью, Фишел всё видел, и в тот же момент закричал, вернее громко сказал: «Стой!» И как вы думаете, что сделал Резвый? Резвый, услышав голос Фишела, своего царя, застыл, как памятник. В этот момент Ицхак успел выбежать на улицу. Резвый знал, что если он без команды опустит копыта, его накажут, и он пыхтел, но стоял.

Это было зрелище – огромный конь застыл и смотрел на Фишела, словно прося прощения. Он ведь только хотел защитить хозяина, он любил его, своего хозяина. Неужели он, Фишел, этого не знал? Конечно, Фишел это знал, но дисциплина – это закон. Любуясь своим конём, Фишел подошёл и что-то сказал Резвому на только им понятном языке. Резвый опустил копыта, но не уходил. Час расплаты наступил. Фишел взял коня за морду обими руками и поцеловал в губы, этим отметив хорошее поведение его, а затем, разняв эти толстые губы, укусил Резвого в десну – это уже было наказанием.

Люди, которые сбежались на крик Фишела, стояли у забора и наблю-

лили за этим зрелищем. Ну как можно было объяснить кому-либо, что ныли они, Резвый и Фишел, друг для друга.

Но на этом история не окончилась. Несколько лет спустя, после долгих уговоров, семья убедила Фишела ехать в Америку. Это было не простое решение, это была битва. Взвешивали все за и против. Фишел, уже было согласившись, спрашивал: как он там, в Америке, будет без Резвого и как Резвый будет без него. Но семья победила. Наступило прощание. Во дворе был накрыт прощальный стол. Все соседи собрались провожать Фишела. Пили водку и говорили тосты. Фишелу желали счастья и всего, чего он сам захочет. Но все ждали, как Фишел будет прощаться с Резвым. Когда он встал и пошёл в конюшню, наступила тишина.

Я не знаю, о чём он говорил Резвому, не знаю, как вёл себя Резвый. Исконные кони всё чувствуют и иногда плачут. Кто их, коней, знает? Но когда Фишел вышел, он выглядел на пару лет старше. На его лице появились растерянность и печаль, он хотел что-то сказать, но выдавил только: «Резвый!» и показал в сторону конюшни. До самого отъезда он не произнёс ни слова и его никто не трогал. Наверно, боялись, что он передумает. Вот такая история. Вот такие люди жили в нашем местечке...

Сейчас Фишел живёт в Америке и говорит по-английски, иногда добавляя украинские слова с еврейским акцентом. Скучает ли он за Резвым? Спросите у него. Ведь его в Америке знают все.

ОДИН ПРОЦЕНТ

История, которую я хочу вам рассказать, тоже произошла в нашем местечке. Можете верить или не верить, но почему-то все хорошие истории происходили именно в нашем местечке.

То, наверное, потому, что в нём жили хорошие люди и несмотря на неидеальные условия жизни, они всегда сохраняли чувство юмора.

Еврейский юмор – это всегда смешно и всегда опасно. Евреи, чувствуя себя притеснёнными со всех сторон, начинали мстить и порой теряли контроль над собой. Тогда юмор становился опасным для всех. Юмор становился орудием мести, юмор даже мог стать причиной погромов.

Но всё равно евреи смеялись, и этого никто не мог у них отнять – их смех сквозь слёзы. Вы же знаете, как евреи умеют рассказывать «маны»! А как они умеют их слушать, не мне вам это объяснять...

Сейчас я расскажу вам одну историю, а вы послушайте, но только не перебивайте...

Так вот, однажды один извозчик по имени Абраша решил съездить на воскресный базар. Он пригласил с собой своего дядю Аврума и они тронулись в дорогу. В этот день был какой-то христианский праздник и на улицах было много народа. Люди были красиво одеты и поздравляли друг друга – у всех было праздничное настроение.

Отъехав недалеко от своего дома, Абраша встретил соседа. Увидев

Абрашу и Аврума, сосед улыбнулся и сообщил им, что сегодня праздник и кто-то воскрес. Его улыбка не понравилась Абраше. Во-первых, он не уходил с дороги и Абраше пришлось остановить лошадь, во-вторых, сосед был слегка выпившим и никто не знал, что у него на уме. Но самое главное – ни Абраша, ни Аврум не знали, кто и почему воскрес?

Абраша, не дожидаясь что скажет сосед, встал и как с трибуны, подняв кнут, закричал:

- А дынер золь дих гаргенен (чтоб гром тебя убил)!
- А цырас золь дих тревен (чтоб тебя осыпала болячка)!
- Мы золь дих труген унд зинген (чтоб тебя несли и пели)!

Аврум, услышав эти проклятия, уставился на Абрашу и с ужасом подумал, что если сосед поймёт хотя бы что-то, то до базара они уже не доедут.

Но сосед стоял и улыбался. «Не понял», – с облегчением подумал Аврум. Улыбка соседа вконец взбесила Абрашу и он напоследок изрёк:

- Ду золст геен ауф кылес (чтоб ты ходил на костылях)!
- А зисен тойт зольст ду хабен (чтоб у тебя была сладкая смерть).

Аврум посмотрел на Абрашу и спросил на идиш, почему ты желаешь ему сладкую смерть?

Абраша ответил: «Я ему пожелал, чтобы машина, гружённая сахаром, его переехала», Аврум был в шоке от такого перевода и пожелания.

Сосед, дождавшись того, когда Абраша закончит, поклонился и сказал: «И я вам желаю того же от всего сердца, дорогие соседи!»

Обалдевший Абраша стал плевать то через правое плечо, то через левое, а потом, не найдя слов, плюнул на землю и так ударил лошадь кнутом, что она как ракета рванулась с места. Аврум, не удержавшись, вывалился на дорогу. Потом он долго бежал за телегой, проклиная Абрашу и его сумасшедшую лошадь...

Вот такая история. Хотите верьте, хотите нет, но она правдива на 99%. Вы спрашиваете, куда девался 1%? Его оставил себе тот, кто рассказал мне эту историю. Он всегда себя страхует на 1%, чтобы потом сказать, что всё было почти что так.

Но может быть, где-то что-то он забыл, поэтому только 1% этой истории мы поставим под сомнение... У евреев нельзя проклинать! Это знают все! Но иногда в голове отключается какая-то лампочка и мы в полной темноте раздаём проклятия налево и направо. Но мы также забываем, что проклятия, как бумеранг, часто возвращаются обратно. Иногда этот бумеранг может только пальцы на руках поломать, а иногда он так ударит по голове, что сразу включаются все лампочки и мы видим, сколько гадостей наговорили наши проклятия.

Давайте же попробуем не проклинать, а желать друг другу только хорошее. Давайте! Первый шаг сделаю я!... Зайт але гезунд и живите счастливо до 120 лет! Чтоб у нас и наших соседей всегда всё было хорошо.

Кстати. Возвратившись с базара, Абраша и Аврум взяли пару бутылок подки, кусок хорошей кошерной свиной колбасы и пошли поздравлять соседа с праздником. Абраша не знал, что могло в него утром вселиться, ведь с соседом он всегда был дружен. Нужно было извиниться.

Ведь кто-то воскрес и это событие нужно было отметить. Сосед тут был действительно ни причём. Судя по тому, как они сытые и весёлые пели еврейские и украинские песни, всё окончилось миром. Ну и Слава Богу!

ВИТАМИН

Его фамилия была Юхенсон. Это был интеллигентный и очень аккуратный человек. Он всегда ходил в пиджаке и галстук, при нём всегда был портфель. Он был заготовщиком ракушек. Ракушки, из которых потом делали пуговицы, собирали по всей области. Юхенсон никогда не ругался и самая грубая фраза, которую он мог произнести, была: «Не наше дело». Потом он долго краснел и извинялся. Вот такой это был человек из нашего местечка. История, о которой я рассказываю, вообще-то не о нём, хотя он играет в ней важную роль.

Главным героем является всем знакомый Ицхак. Это тот, с большим и даже очень большим животом, один из самых знаменитых мужчин нашей мышпухи. Балагула с большой телегой и большим именем. Уважаемый среди евреев и украинцев. Ицхак ел и пил только из большой посуды. Ел он много и был здоровым, как три еврея вместе.

История начиналась так...

Юхенсон сказал Ицхаку, что ранним утром они поедут в соседнюю деревню за ракушками и чтобы Ицхак заехал за ним пораньше. В пять утра Ицхак постучался в дверь к Юхенсону и войдя увидел, как тот сидит за столом и пьёт чай, закусывая печеньем. Съев два или три печенья, он предложил Ицхаку позавтракать с ним. Ицхак вежливо ответил, что когда они будут ехать мимо его дома, он заскочит на минуту и перекусит. После, Юхенсон вытер губы салфеткой, сказал жене спасибо, чем вызвал Ицхака удивление, и они вышли на улицу. Ехали и тихо разговаривали. Доехав до дома Ицхака, вошли туда вместе и то, что увидел Юхенсон, чуть не сбило его с ног. На столе стоял казан, полный жаркого. В казане среди картошки и ещё чего-то лежали две куриные фаршированные шейки. И всё это было в половине шестого утра.

Ицхак сел за стол и пригласил Юхенсона, но тот стоял, как вкопанный. Приняв это за культурный отказ, Ицхак стал завтракать. Он уплетал жаркое и шейки так, как будто у него могли их отобрать или этого уже никогда больше не будет. Вылизав чугунный казан, он встал и, подойдя к колодезю, набрал полное ведро воды и выпил его до дна. Жена спросила: наелся ли он, и получив в ответ «а гребц», поняла, что да. Юхенсон вышел на улицу, не произнеся ни слова. Он был в шоке. Сел на телегу,

они поехали. Утро начиналось для Ицхака хорошо, а для Юхенсона оно еще не кончилось, так как через 20 минут они подъехали к чайной, которая только что открылась. Ицхак приказал коню стоять, слез и вошёл в чайную. Вышел он оттуда, неся под мышкой толстую палку докторской колбасы и кирпичик чёрного хлеба. Сев на подводу, он издал особый звук и конь тронулся. Ицхак стал отрывать большие куски колбасы и такие же – хлеба. Юхенсон начал терять сознание. Он смотрел на Ицхака с ужасом и удивлением. Собравшись с духом, он не выдержал и спросил: «Ицхак, ответьте мне, пожалуйста, вы сейчас съели то, что съедает целая семья за неделю, как вы можете так много кушать? Побойтесь Бога!» Проглотив последний кусок колбасы, Ицхак посмотрел на Юхенсона и удивлённо ответил: «Вус хоб их гегесен? Вус? Ду хас гегесен минамин, унд вус хоб ихгегесен – а гурнышт». Ицхак никогда не ел печенье, оно было для него в диковинку. Он думал, что эти два или три печенья – витамины, а витамины – дус ист гит, как говорил доктор.

Юхенсон не проронил больше ни слова. Что мог этот культурный человек ещё сказать? Гурнышт!... Не думайте, что Ицхак не был культурным, но как его мог понять Юхенсон?

Мой хороший Ицхак, пусть земля ему будет пухом, ехал и улыбался. Улыбался сам себе, ведь утро для него было удачным. Он улыбался и думал, как мало понимает в жизни этот Юхенсон.

Глядя на его улыбку, можно было подумать, что он самый счастливый человек.

Вот и закончилась ещё одна история из нашего местечка. Боже мой! Какие люди жили там.

Если вам завидно, переезжайте в местечко. Насмеётесь до упаду.

ПРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

ВОСПИТАНИЕ НАРОДА

В воспитании народа,
 Тем, кто стал на скользкий путь,
 Есть немецкая метода –
 Обрубить чего-нибудь.
 Если в дом вошёл без стука
 И унёс чужой предмет,
 Отрубить такому руку,
 Чтобы помнил много лет.
 Ну а кто свернул с дороги,
 В парке ходит по траве,
 Отрубить такому ногу,
 Даже лучше, если две.
 И тогда – покой и счастье.
 Заблестит за далью даль.
 Кое-кто утратил части,
 Приобрёл зато мораль.
 Все – безрукий, безголовый,
 Каждый помнит о вине...
 Только вдруг: «Ребята! Что вы?!
 С топором спешить ко мне?»
 Где я был? Ходил к невесте.
 Да, женат. Но всё с тоски...
 Умоляю, в «главном» месте –
 Не рубите, мужики!

БЕСКОНТАКТНЫЙ МАССАЖ

Была расстелена кровать,
 лежало тело.
 Я собирался врачевать,
 Ты так хотела.

Не сон, не выдумка, не блажь –
 Реальность факта.
 Я прописал тебе массаж,
 но без контакта.

К твоей груди ночной порой
Приник ласкаясь.
Я над тобой вожу рукой
не прикасаясь...

Лопатки, шея и спина
Близки до боли.
Хмелею, словно от вина,
Слабеет «поле».

Ушла энергия, а страсть
Вошла бестактно.
Я над собой теряю власть –
Хочу контакта.

Как трудно быть на высоте
И делать дело.
Когда вздыхает в темноте
Такое тело.

ЭРУДИЦИЯ

Художник Айвазовский-старший
Спал со своею секретаршей.
С актрисой Сарою Бернар
Спал городской ветеринар.
Сергей Есенин без стакана
Не шёл в объятия Дункана.
Вы обсмеётесь над причиной,
Но Айседора была женщиной.
И, кстати, сыном Маяковского
От композитора Чайковского.
Что значит: «Быть того не может?»
Да-да! И Маяковский тоже.
И только для отвода глаз
Там Лиля Брик меж них вилась.
А кто с ним спал? Ну и вопросик!
Конечно, Брик, но только – Осип.
Поэт стал жертвою интриг, –
Был мазохистом этот Брик...
Был мазохистом, кстати, Бабель, –
Не мог без копармейских сабель.
И ревновал его Будённый
Ко всем штабистам Первой Конной!
Мария, га – Ангуанетта
По Лувру шастала раздетой.

И как-то раз Дени Дидро
Её облобызал бедро.
Она его по роже, курва.
А он: «Ах, так – и вон из Лувра»
А уступила бы насилью,
И сохранила бы Бастилию...
Вот всё, чем я могу гордиться –
Так это явно – эрудицией!..

КНИГА ЛЮБВИ

Тебя ласкаю взглядом.
Огонь горит в крови.
Но книга с нами рядом –
«О способах любви».

Её вчера на рынке
Купил я сгоряча.
Рассматривал картинки
И схемы изучал.

Нас в спальне только двое.
Хочу тебя обнять.
Но вижу перед собою
Рисунок номер пять:

«Нажмите и потрите».
А я ведь не нажал.
Хотел сказать: «Простите»,
Но голос задрожал.

Душа тобой безмерно
Полна. Шепчу: «Люблю».
Но, кажется, неверно,
Я снова поступлю.

«Погладь» – учила книга.
Так было всякий раз,
Что перед главным мигом
Огонь во мне погас.

Теперь нас ждёт разлука
И счастье не зови...
Как жестока наука
О способах любви!

ЗАЛОЖНИКИ

Едва самолёт поднялся в поднебесье,
Малыш лет не больше пяти,
Подёргав за юбку, сказал стюардессе:
«Шкажи, што в Штамбул мы летим!»

И тонкой ручонкой он в тётю направил
Игрушечный свой пистолет.
В глазах потемнело у тётки, но правил
Она не забыла. О, нет!

Она доложила пилоту
о том, что случилось сейчас,
А тот новый курс начертал самолёту,
Промолвив: «Приказ есть приказ!»

Земля поддержала: «Держитесь, ребята!
Горячего на три часа.
В Стамбуле готовится группа захвата,
Отводится вам полоса».

И вот самолёт кое-как был посажен,
Чужая слышалась речь.
И вышел угонщик по трапу. Он даже
Сумел все пистоны сберечь...

Забрал басурман пистолет у мальчишки.
Вот тут и случился пассаж –
Малыш с перепугу наделал в штанишки
Как, впрочем, и весь экипаж.

ТОМЛЕНИЕ

В траве шуршали мыши,
Душа была полна.
Стоял я притаившись
у вашего окна.

Спускался тёплый вечер.
Струился лунный свет.
Я видел ваши плечи.
Ваш лёгкий туалет.

Кудрявая головка
И контур стройных ног.
Подглядывать неловко,
Но я уйти не мог.

Неспешные движенья,
Как сладок аромат.
В душе моей томленье,
Но я ему не рад.

А на губах и пальцах
Желанье вяжет нить.
Осталось постучаться
И робко попросить.

Ни дня того, ни часа
Забыть мне не дано.
Вы вкусно ели мясо,
А я смотрел в окно.

О ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ...

Однажды, когда свобода приоткрыла калитку в «забугорье», поток свободомыслящих хлынул за пределы родных границ ...

Все были бывшими пассажирами огромного корабля под названием «СССР». У каждого на судне была своя каюта-люкс, во всяком случае, так они считали. Там их называли евреями и за ними была огромная биография, огромный опыт и огромный неизрасходованный потенциал. Там многие из них были профессорами, главными инженерами, докторами всех мыслимых и немыслимых наук...

Там они были Гулливерами, здесь, в большинстве своём, оказались лилипутами. Главные инженеры работали в «шпильках», врачи продавали пищевые добавки китайской фирмы «Таньши», профессора в бабочках приобретали велосипеды в еврейских научных обществах.

Слишком «продвинутые» избрали нелёгкий эмигрантский жизненный путь и занялись сочинительством. Их не издавали, а они продолжали... Писали воспоминания о прошлой жизни, рассказы о нынешней, стихи в стиле серебряного века, не забывая ни о железном, ни о медном. Они хотели остаться самими собой, не плыть по течению. «Оставайтесь самими собой, — говорил хасидский цадик Зуся, — в том мире никто не спросит тебя, почему ты не был Моисеем? Спросят — почему ты не был хотя бы Зусей?» Вот они, новоявленные «инженеры человеческих душ», и кропали в гордом одиночестве.

Правда, через пару лет, уразумев, что ничто человеческое им ни чуждо, объединились в литературные клубы и студии. Помня, что мудрый Гейне так то сказал, что прошлое — это родина души человека, ими овладела тоска по тем чувствам, которые они когда-то испытывали, даже тоска по

былой скорби... Это и стало их основной темой.

Вскоре многие из них стали «великими», а некоторые даже усомнились в гениальности не только Ахматовой, но и посягнули на самого Пушкина. Никто не хотел умирать творчески, а тем более убивать своё «Я», учась у литературных метров. И было решено объединить усилия, сменив «Берега» литературных рек, «До и после» той и этой жизни и попытаться подняться на «Третий этаж», постучавшись в лучшую «Студию» русского зарубежья, где призрачно витал дух вдохновенного творчества.

Однако двери открылись только для избранных. Здесь, в целях повышения профессионального мастерства, часто велись беседы об основах стихосложения и прозовычитания.

В русле этих занятий однажды и состоялся учебно-методический семинар, посвящённый именам существительным. Руководила семинаром Главная Речь, которая давала слово этим и другим именам. Было оживлённое заседание, и о нём стоит рассказать подробней. Итак, в «Студии» собрались имена существительные. Все знакомые лица: тут были Утро и Поток, Впечатление и Простая Речь, Полдень и Энергия, Пуля и Факт, Отрезок Времени и Образ, Картина и Окраина, Дымка и Поступь и Ряд... и ряд других известных в литературных кругах имён. Заранее выработанной повестки дня не было. Сначала, как водится, поговорили о погоде, здесь сильно досталось Бюро прогнозов, на что упирали Утро и Полдень. Затем потолковали о том, о чём — в этом приняло участие большинство собравшихся. После чего коснулись литературно-студийных дел. Охаяв литературные успехи собиравшихся под крышей «До и после», Главная Речь с «Третьего этажа» вспомнила Флобера, который целый год мучился из-за того, что ему не удалось отшлифовать какую-то фразу в «Госпоже Бовари». Отсюда перешли к произведениям А.Пушкина, Л.Толстого, М.Горького, а также к выдающимся писателям современности Д.Хармсу и Г.Сапгиру, в творчестве которых прослеживалась кропотливая работа поиска нужного слова, подходящего эпитета, меткого определения.

О произведениях толпящихся в коридорах «Студии» собратьев по перу, Главная Речь употребила тёплое, ласковое слово: «Говно»!

Вот тут-то имена существительные и заговорили об именах прилагательных. И это вполне понятно: что у кого болит, тот о том и говорит. Ведь совсем негоже, чтобы все писатели прилагались к великой русской литературе. Кто-то из начинающих произнёс: «Некоторые имена прилагательные совсем нас доконали». «А вот с глаголами мы живём душа в душу, вернее рифма в рифму, — вставил слово расправивший крылья Пегаса начинающий поэт, — они как песня нам жить и социал получать помогают». «Не скажите, — промолвили Прения. — К нам, например, недоброжелатели прикрепили на всю оставшуюся жизнь глагол «развер-

нулись», из-за которого дышать невозможно. Как только мы на наших встречах упоминаем о прениях, тотчас же их перья выводят это скабрёзное слово – «развернулись».

У меня тоже нелады с глаголом, – сказала хорошенькая Окраина, – за мной как тень бродит глагол «преобразилась». И всегда в сочетании с «слово неузнаваемости».

Конечно, я Окраина, как и все районы нашего города, сильно изменились к лучшему за последние годы. Но нельзя же это заключать в одно слово! Всё это чистая случайность, – возразило Впечатление, – это, друзья мои, не типично и не стоит обижаться на глагол.

Другое дело – имена прилагательные. Прилепят к нам некоторые не очень взыскательные литераторы какое-нибудь прилагательное и носят его до конца жизни. А ведь хочется новизны, разнообразия, свежего слова. Я, например, всегда бываю «неизгладимое». Незгладимое вычитание!

А я всегда меткая, – сказала Пуля.

А я всегда упорная, – сказала Борьба. – Чудесная характеристика, что и говорить! Но нельзя ведь всю жизнь одно и то же!

Русский язык красив, богат и разнообразен. «Великий и могучий» – додумал кто-то из классиков «Третьего этажа», блеснув эрудицией.

В том-то и дело! – воскликнула Волна. – Меня все поэты от «До и после» до «Берегов» хвалят и всегда одним и тем же словом «мощная»...

Вот я вас и поймал, мощная Волна! – и обиженный Отрезок Времени выскочил с места. – Выступаете против шаблонов, а сами? По отношению ко мне применяете затасканное выражение – «за сравнительно небольшой отрезок...»

Простите. Оговорилась. Сказывается привычка.

Эти привычки плохо отражаются на вас, – произнесла Главная Речь.

Многие прозаики привыкли называть Речь взволнованной, и нет для меня иного прилагательного. Случается, что на одной странице я восемь раз взволнована. То и дело мелькает: «С взволнованной речью выступил в «Диалоге» с «Хатиквой» лидер поэтического большинства, поэт, прозаик и переводчик, господин Шрайбер...

А обо мне, при любой погоде, обязательно пишут, что я прекрасное, – сказала Утро, – Сколько рассказов, очерков, эссе начинается с фразы: «В одно прекрасное утро!»

Лишь А.П.Чехов использовал эту расхожую фразу в ироническом смысле. Его рассказ «Оратор» начинается так: «В одно прекрасное утро хорошему коллежскому асессору Кириллу Ивановичу Вавилову...»

А обо мне, – улыбнулся Полдень, – неизменно пишут, что я ясный. Истинный полдень.

А я сияю в любую погоду, – сказала Дымка.

А к нам двоим, ко мне и Образу, пристегнули одно прилагательное,

– констатировал Факт. – Все его хорошо знают: «яркий». Яркий образ. Яркий факт. Так и ходим вместе, со страницы на страницу, сияя своей фактической яркостью.

– Перед нами открылась любопытная картина. – Почему любопытная? – спросила Картина.

– А почему я всегда небывалая? – возмутилась Энергия.

– По той же причине, по которой я – твёрдая, – объяснила Поступь.

– А я всегда целый, – заявил Ряд. – Так и шпарят: «целый ряд альма-нахов, целый ряд выдающихся поэтов, целый ряд открывшихся талантов».

– Подведём итог наших прений, – прервала полемику Главная Речь. Как видите, в одно прекрасное Утро, когда сизая Дымка заволокла окрестности, на лужайке, у самой Окраины, которая за сравнительно небольшой Отрезок времени преобразилась до неузнаваемости, широко развернулись Прения и целый Ряд ораторов-литераторов выступили со взволнованными Речами и, прерывая и перекрикивая друг друга, приводили яркие Факты упорной Борьбы поэтов всех «береговых» и «третье-этажных» студий против шаблонов среди имён существительных и имён прилагательных. Получилась любопытная Картина, которая не могла не оставить неизгладимое Впечатление.

Главная Речь предложила продолжить это впечатление, спустившись с «Третьего этажа» на «Берега» Шпрее для принятия некоторых процедур. Многие поддержали эту свежую мысль.

Разошлись тогда, когда наступил ясный Полдень. В их сердцах появилась надежда на то, что новая волна протеста против однообразия существительных и прилагательных дойдёт до начинающих и вышестоящих литераторов и они твёрдой Поступью пойдут по пути улучшения своего языка.

Надежда, что все «великие», на всех этажах литературного Олимпа, не будут забывать о величии русского языка, исключив из своего лексикона имена существительные: Злоба, Зависть, Недоброжелательность – заменив их словами: Мир, Дружба, Терпимость, Творчество.

** «Берега», «До и после», «Третий этаж», «Студия» – русскоязычные альманахи и журналы, издающиеся в Берлине.*

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СКАЗКУ

Однажды, вечернею порой, сидел за столом один писатель, слышавший в своей среде юмористом и даже где-то сатириком. Думал о судьбе страны, её народа, правителях и олигархах.

«Куда же ты мчишься, Русь?!» – вспомнились слова великого классика русской литературы.

– Что бы такое обо всём этом написать? – подумал он и в следующее

мнение решил: – Напишу сказку.

Сатирик-юморист был немолод, обладал жизненным опытом и солидной биографией. Он прошёл всё, многое испытал в жизни. Кого-то заделал он, кто-то, в ответ, бил ему морду.

На его внешности эти последствия никак не отразились, за исключением того, что глаза у него стали разные. Как у ангорского кота. Левый глаз шлемшиливый, ироничный, озорной.

Правый – серьёзный и строгий. Зажмурит, бывало, правый глаз, смотрит одним левым и с упоением вступает в схватку с президентом, олигархами и бандитами. Остро бичует всякую нечисть. А потом зажмурит левый, откроет правый, посмотрит и приговаривает уже другое: «Как бы не так поймут и печатать не станут. Надо бы поосторожнее... И вообще, принтели на Руси не так уж и плохи, да и олигархи с бандитами вполне мятные, добрые люди...»

Когда сатирик-юморист писал левым глазом, то набело, когда правым – сам себя редактировал.

Ну, ладно. Остановился он на сказке. Решил избрать этот ёмкий сатирический жанр, чтобы сразу ударить по всем порокам.

«В некотором царстве, в тридесётом государстве жил-был царь, – написал он. – Звали царя Тутин-Фрутин. Слава о нём шла далеко-далеко, за моря и океаны, за горы высокие, за земли далёкие. Вступил он на трон, по случаю, по доброй волюшке царя-батюшки, после обильного возлияния да недоброго похмелья. А был новый царь молод и решителен. К тому же был воинственный и «в сортире многих мочительный»...

Ставил он власть свою укреплять, бояр да купцов, себе к трону назначать. Как что-либо в голову стукнет, звонит в Царь-колокол, соберёт министров да кричит:

Идея возникла.

Какая, ваше величество, идея?

Забрать у бывших бояр леса, отдать вновь назначенным, чтоб лучше леса рубили, брёвна сплавляли, за бугром торговали, лес нынче в цене большой. Другие царства-государства, знаете сколько платить будут?!

Рубили лучшие леса. Выручку в царско-боярскую казну положили. Стали мало-помалу проедать: дворцы себе за морями-океанами возводить, ковчеги диковинные на воду спускать, стальных птиц царских в небо синее запускать...А народ глядел на это да безмолствовал.

Гут министры и вопрошают царя:

А что же теперь на месте лесов будет?

Поля будут. Мандариновые деревья посадим. Мандарины – деньги живые.

Мандарины отродясь в царстве нашем не росли никогда.

До меня не росли, а при мне – будут. Да и не только мандарины посадим...если не бросите все силы на мандарины!

Написали министры указы, разослали гонцов во все концы царства, согнали народ безмолвный мандарины выращивать. Но не росли они. Только ветки-палки по всей стране торчали.

— Идея! — воскликнул царь и зазвонил в Царь-колокол.

— Какая, ваше величество, идея?

— Приставить к каждому мандариновому дереву по чиновнику, чтоб вертикаль укреплялась, чтоб смотрели и докладывали. И ответственность несли.

— А не много ли будет чиновников, если к каждому?..

— Не много. И потом: если уж расширять ряды информаторов-доносителей, то надо делать это с размахом! Не то, что при старом царе-батюшке было. Расширили. До невозможности. А мандарины не росли. А чиновникам зарплату платили да ещё доплату за ветко-палочную вредность. Министр финансов, ставленник царский, все деньги на удобрения укрывший, доложил:

— Так мол, и так. Дело худо. Дебет ищет кредит... Народ не то что мандарины — хлеба не видит. Однако по привычке безмолвствует...

— Идея! — воскликнул царь.

— Какая, ваше величество, идея?

— Бюрократизм заел. Коррупция разрослась — палок мандариновых из-за неё не видать. Уволить чиновников. Всех, до единого. Сокращать, так сокращать! Экономить надо!

— Всех? — не поверил своим ушам министр финансов. — А кому будете распоряжение давать? Кто вам подчиняться будет?

— Мне? — переспросил царь. — А мне и будут всем народом подчиняться — ныне, присно и во веки веков. Аминь!

Сатирик-юморист поставил точку и перечитал написанное, глядя левым глазом.

— Очень точно. Правильно. Когда люди получают всю полноту власти, они уже не знают разумного предела, — утвердился он в своей правоте. Но тут открылся правый глаз, а левый — закрылся.

— Что-о-о?! А не слишком ли я того? Дальше глаза мигали попеременно, как огни светофора.

Левый: А что — «того»?

Правый: Поймут ли намёк на... Он ведь у нас — «один на всех» — и царь, и батюшка, и...

Левый: Дело не в нём, а в явлении. Зачем в сказке искать параллели? Сказка — ложь...

Правый: А если ложь, зачем тогда писать?

Левый: Сказка — ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок. Это Пушкин сказал.

Правый: А каких молодцев Пушкин имел в виду?

Левый: Добрых.

Правый: Добрые таких глупостей делать не станут. Сажать мандарины.

Левый: Не в мандаринах дело. Их можно заменить чем угодно. Хоть редькой. Редькой с хреном.

И потом. Всё происходит не у нас, на Руси, а в «некотором царстве, в тридесятом государстве».

Снова заморгал глазами сатирик-юморист, решив посмотреть на всё происходящее одним, общим третьим глазом. Опустил он мысль, что царь повелевателен и жесток и представил, что он одновременно чувствителен ко всему, происходящему в царстве.

Он хотел, чтобы всё в его царстве было хорошо, а если узнавал, что где-то плохо, впадал в грусть и принимал успокоительные царские капли.

Сколько бочек нефти, сколько бочек газа, сколько пудов золота, сколько баранов в правительстве и во всём царстве? – спрашивал царь у вновь назначенного министра, выписанного из заграничной ссылки.

Сто тысяч бочек нефти и газа, сто тысяч пудов золота, а баранов не считано. – отвечал министр не задумываясь.

А у царя слёзы на глазах.

Плачете, ваше величество?

Плачу.

Мало что ли?

Мало.

Мы тогда купцов пересажаем, деньги у них отберём. Может, заём иранской взяты. Новых бочек миллион закупим...А может, я и ошибся в подсчётах. Может у нас всего больше.

Вот то-то же. Пошли во все концы моего царства гонцов, чтобы всех и всё пересчитали.

Поскакали гонцы во все концы, принесли первому министру огромную грамоту с докладом.

Смотрит он бумагу и глаза его гневом разгораются. «Нефти негусто, да и газу не очень, а бараны с ослами всюду по стране пасутся...»

Что вы тут понаписали?! – кричит министр.

Что видели, – отвечают гонцы. – Мы во всех концах побывали.

А министр злится.

Получается, что вы во всех концах бывали и всё знаете, а мы тут, в белокаменной, ничего не видим? Нельзя так писать: царь расстроится. И без этого величием страдает. Забирайте назад свою докладуху и перелопачивайте. Хороший пример берите с царева прислужника – главного в избирательной счётной палате. Он знает, какие циферки ласкают царские глаза.

А как передёльывать? – спросили удручённые гонцы. – Может, хотя бы две шестых?

Ни-и-и-когда! Расстроится наш царь-батюшка.

– Поняли, – согласились гонцы.

– Длиннее слог. Слово должно быть ласковым. Вот вы тут пишете: «...к тому же везде все воруют». Грубо. Прочтёт – расстроится. Нет воровства! Имеются лишь отдельные случаи, когда простые люди, являясь невольной жертвой предрассудков далёкого прошлого, путают своё личное имущество с казённым. Вот как! Или ещё: «взятки». Мягче надо! Знать надо, для кого вы всё это пишете! Нет в царстве взяток. Даже если взятки – гладки. Но, конечно, случаются порой факты, когда рассеянные столоначальники берут у благодарных им людей небольшие суммы денег по неосторожности, не оговаривая сроки возвращения...

– Понятно, – закивали головами гонцы-учётчики. – Насчёт отдельных жертв и рассеянных столоначальников – это мы краем-боком. А как же с цифрами?

– Цифры я беру на себя, – ответил первый министр. – Но скажу я вам прямо, по-мужицки, не очень сильны вы в статистике, то есть в цифросчёте. Скажете, статистика – такого слова у нас ещё нет, но оно появится позднее. И ушли гонцы. И пришли потом с новым докладом. С ласковым таким документиком.

– Так сколько бочек нефти в моём царстве-государстве? – спрашивает Тутин-Фрутин своего первого министра. – Сколько пудов золота? Сколько баранов?

– Миллион бочек нефти и газа, двести тысяч пудов золота, десять миллионов баранов, – отвечает первый министр. – По уточненным данным...

А у царя на глазах слёзы, и министр исправляется: по уточнённым, но не окончательным...

А царь говорит: – Не потому плачу, что плохо, а умилен я тем, что всё так хорошо в государстве моём. Значит, можно выдавать дочерей моих замуж. И решил я: тому, кто руки старшей будет достоин, полцарства отдам. Половину того, что ты назвал.

Первый министр за сердце схватился: где оно всё названное! Но деваться некуда.

– Хорошо, – говорит, – по вашему повелению всё отдадим. Ничего народу не оставим. Но одного этого мало...

Хитрый был первый министр.

– Мало? – переспросил. – А что ещё надобно?

– Славу вашу увековечить надо. Чтоб прошли века, а о вас весь белый свет помнил...

– А как это уве-ве-вековечить? – поинтересовался царь.

– А в заморских дворцах, купеческих и прочих теремах надобно, чтоб висели картины, рассказывающие современникам и далёким потомкам, как всё при великом Тутине-Фрутине благоуханно было. Да, с картинами да скульптурами мы пока поотстали.

Как заплачет царь, как запричитает!

Поотстали? То вокруг всё хорошо было, то поотстали?

Не плачьте, ваше величество, – утешил царя первый министр. – Есть выход. Дать в приданное вашим дочерям вместе с полцарством ещё целую картинную галерею... то есть не галерею: (это слово появится потом) подарить целое картинохранилище. А для того послать богомазов по все концы, дать им кистей, красок да холста и пусть работают! А со свадьбами пока повременим. Пусть невесты ума-разума набираются.

И согласился царь, что ради такой великой цели со свадьбами можно и повременить. Так до сих пор и тянут. Между тем, приносят богомазы первому министру свои картины, а он все отменяет...

Ни-и-когда! Расстроится. Что вы тут намалевали?

Пейзаж. Сибирская деревня, которой угрожают лесные пожары.

Погасить пожары. Леса в нашем царстве никогда не горят. Ну-ка. Дальше. Что тут у вас?

Разливы рек. Затопленные терема. Люди без крова...

А к чему разливы? Пусть река течёт, как ей положено! Не к чему ей разливаться! Всё переделать. Вы понимаете для кого творите, чьи светлые очи будут разглядывать картины?!

Так оберегал первый министр своего повелителя-работодателя. Не хотел его расстраивать...

Вместо царя расстроился сатирик-юморист, когда задумался о свободе, которой не воспользовался безмолствующий народ в этой сказочной стране. Задумался и осознал, что ведь раньше жилось веселее, а сейчас всё смешнее и смешнее. Вокруг сплошной хохот и смех... Много смешного, а весёлого очень мало. И у него пропало желание писать продолжение сказки, в которой добро, очевидно, не сможет победить зло. Приняв такое решение, сатирик-юморист, завершил рукопись словами:

Видно, русскому народу
Нынче присно, как и встарь,
Нужен больше, чем свобода,
На спине воссевший царь!

ВТОРАЯ ТЕНЬ

Сообщать себя –
природное стремление...

И.Гёте

В который раз ночь выпита до дна,
Но снова я в преддверье рецидива
Рассвета жду, где ложь не так правдива,
И где вторая тень не так видна.

В Бермудском треугольнике живу:
Две тени по углам, я в третьем маюсь,
Грехом не тягочусь, в безгрешье каюсь,
Живу во сне, сны вижу наяву.

Вторая тень – родимое пятно,
Где «да» и «нет» – вулкан под общим кровом,
Где в новом всё старо, а в старом всё так ново,
И где под кистью дышит полотно.

Я вычищу палитру добела,
И снова раскручу свою рулетку,
Мне тесно на ветру, свободно в клетке,
А через миг мне клетка не мила.

Чтобы в огонь поплакала гроза,
Опять сверну к себе на повороте...
Я в кворуме страстей одна из тех, кто «против»
И та одна, что безнадежно «за».

Моя вторая тень, я за тебя –
Без этого меня ничтожно мало,
Для той толпы заядлых театралов,
Что всё же отрекаются любя...

ИНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Есть вещи, которые надо видеть,
чтобы им верить, и есть другие,
которым нужно верить для того,
чтобы их видеть...

П.Буаст

И снова растворилась в ливне дней,
Смешав так грубо суету и негу,

И потому сбегая в мир теней,
Где ни один из вас, возможно, не был.

Перетеку в иную параллель
Глазурью изумрудных пасторалей,
Оставив в прежний мир намёк на щель,
Куда душа протиснется едва ли.

Я в горечи цикория найду
Изящество безумного фламенко
И соберу у неба на виду
Букет из чувств неведомых оттенков.

И с ним ворвусь в пестреющую даль
Шумящего гогеновского стиля,
И вновь задышит старенький рояль
Каскадами аккордов водевиля,

А я, шмыгнув в оставленный проём,
В реальность, суетливую от визга,
На дни обрушусь проливным дождём
И снова растворюсь...Как в море брызги.

ИСПОВЕДЬ СТАТУИ СВОБОДЫ

Откровенность – вовсе не доверчивость,
а только дурная привычка размышлять
вслух...

В.Ключевский

По плечам струятся складки меди,
По щекам – ноябрьская слякоть,
Я для вас – блистательная леди...
Мне ль дождями слёз осенних плакать?

Больше сотни лет рассвет встречаю
В лоне Богом избранного места,
В колыбели снов своих качая
Вас вдовой и вечною невестой.

Корни иммигрантские вплетаю
Я в свою французскую породу...
По отцу – Бертольди. Величают:
«Миру свет несущая Свобода»...

Отпущу в эфирность голубую
Весь реестр ваших откровений,

Что в гирлянде сладких поцелуев
Скрыли вы по воле провиденья.

Стоны новорожденного снега
Под пятой неистовых реалий
Подстрекают к вечному побегу,
Плюща душу сквозь каркас из стали.

Мне бы скинуть медные одежды,
Погрузиться в жизни атмосферу,
В мир, где ищут гений и невежда
Счастья самоцвет в судьбы пещерах,

В мир, где полюсами породнились
Жизни феерические соты,
Звуки и цвета соединились
В лейтмотив, что строят люди-ноты.

Беженцам, рождённым вне октавы,
Спесь пришлось немного поубавить,
Греясь в жалких отголосках славы,
Под откос тщеславие отправить,

Откромсать бывлые убеждения
И на свет младенцем народиться;
Впитывая ветра дуновенье,
В клетке снов растить свою жар-птицу.

Чтоб на волю выпустить однажды
Бирюзой небесной насладиться,
Тем, кому пришлось родиться дважды
С птичьего полёта счастье снится.

Мне его заманчивые звуки
Грезятся. Но вечное молчанье,
Боль и обессиленные руки –
Плата за бессмертное признание.

Льнут ко мне и ангелы, и черти.
Ждут моей поддержки – отдохнуть бы...
Но, видать, придётся мне до смерти
Выпрямлять петляющие судьбы.

По плечам струятся складки меди,
Подчеркнув величие осанки,
Быть для Вас блистательною леди –
Боль и счастье бывшей иммигрантки...

ГОНЕЦ МОЕЙ ДУШИ

Воюют волны с берегом крутым
И в пену превращаются упрямо:
Так наши мысли, страсти и грехи,
Сгорев, преображаются в стихи...

Д. Байрон

В пещерах снов, как брошенный птенец
Среди крестов холодного погоста,
Блуждал мой стих, души моей гонец
Под током рифм сосудов кровеносных.

Вплетая самобытность завитков
Цветастых фраз в волнующую тему,
Я так ждала, как чуда ждёт цветок
Влюблённой в май осенней хризантемы,

Что ты за мной когда-нибудь придёшь,
И, как глоток вина, хмельная нежность
Найдёт приют... К земле прижмётся рожь,
Открыв двоим дорогу в безмятежность...

И, не впрягая ревности гневных
В повозку карамельного каприза,
Умчишь меня на гребне волн седых
В прозрачность мной придуманного бриза.

Где дерзкий стих – гонец души моей
Под током рифм сосудов кровеносных
Не будет отдан в суматохе дней
На произвол любовного погоста.

ЧАСЫ

С каждым годом капризней
Аппетит у тоски.
Стрелки делят торт жизни
На пустые куски.

Тот же лик? То же имя?
Или это обман?
Я исколота ими,
Как святой Себастьян!

Брови, складки, усмешки
И прищуренный глаз
Намечаются в спешке,
Исчезая тотчас...

* * *

Полумечты – полутревоги...
И будущего силуэт
Мне не дают увидеть боги,
А ждать – ну просто силы нет!

Вдруг долетит обрывок слова
Издалека, – и я на миг
Замру. И проклинаю снова
Прошедшей жизни черновик.

Хочу, проснувшись, удивиться,
Как много снега намело.
Потом перевернуть страницу –
И враз влюбиться набело!

* * *

Подай мне руку,
Глаза закрой,
Доверься звуку,
Танцуй со мной.

Плывёт планета,
Храня покой,
Молчит про «это» –
Про нас с тобой.

Шальные нервы,
Обрывки фраз.
Люблю, как в первый,
В последний раз.

ЖЕМЧУГ

Конечно, белый, не цветной,
Классический и неизменный,
Лежит, рассыпан предо мной,
Живой макет моей вселенной.

Жемчужины-снежки, и чтоб
Дать им почувствовать движенье,
Я бросить их хочу в сугроб
Сквозной добычею мишени.

Бутоны ландышей нежны,
Но дольше жемчуг свеж на коже.
И хищны зубки у княжны,
И блеск глазных белков её же.

* * *

Меня кормили искренности корни
И прятала пространства простота,
Меня крутой скроили, непокорной
Отца отчаянье и матери мечта.

ХАНУКА

И были дни, и были ночи,
А в храме — лишь немного масла.
Горело масло что есть мочи,
Оно не гасло.

И звёзды жаркие Востока
С блестящими от слёз глазами
Смотрели, не тая восторга,
На чудо в храме.

И что бы ни случилось с нами
Нас греет драгоценный символ —
Горит божественное пламя
Духовной силы.

ПРО ВСЁ И ПРО ВСЕХ

ПРО МЕНЯ

Вообще-го я заяц. Но не из таких полоумных зайцев, которые бегают по полям и путают задние ноги с передними. Это потому, что у них правый глаз косит влево, а левый – вправо. Меня зовут Пауль. Все говорят, что я хорошенький, аккуратный зайчик, то есть кролик. Если вы букву «р» не выговариваете, можете звать меня – зайчик. Кому как нравится. Я живу у фрау Вайсен. У неё хорошо. Всё есть. Ничего добывать не надо. Если захочу есть, подхожу к фрау Вайсен, покручу хвостиком или носи́ком, она сразу даст морковку. Даже если иногда сильно разыграешься и случайно разбросашь чёрные шарики, она ругаться не станет – уберёт и всё. Иногда становится скучно, хочется поиграть в саду. Фрау Вайсен не разрешает, потому что в саду живёт кот Феликс. Он может меня съесть, ведь я ещё минизаяц, вернее миникролик. Когда Феликс был молодой, он был очень красивым котом, врачи его пожалели и чего-то там не сделали, сказали: «Пусть такой красавец так живёт, улучшает породу». Он всё время улучшает, теперь в саду тьма-тьму́щая кошек, похожих на Феликса, и все хотят меня съесть. Фрау Вайсен считает, что я очень дорогой кролик и кормить мною неизвестно кого – расточительство, поэтому меня гулять не пускают.

ПРО ЗАДОХЛИКА

А бестолкового фокстерьера кормить собачим вискасом – не расточительство? Между прочим, Чебурашка не чистокровный фокстерьер, он чуть-чуть дворняга, но когда знакомится с сучками, говорит, что он терьер, про «фокс» забывает. Для понту. Я слышал, как одна сучка в саду говорила, что Чебурашка чистокровный терьер. Так она к нему подлизывалась. А Чебурашка – терьер или нет, всё равно задохлик.

ПРО ЧЕБУРАШКУ

Больше всех хозяйка любит Чебурашку, говорит, что фокстерьеры умные и смелые, как немецкие овчарки. Не думаю... Если бы немецкие овчарки были такими, как Чебурашка, их бы на войну не брали. Чебурашка все дни ноет, канючит и чего-нибудь выпрашивает. Хозяин считает, что Чебурашка такой задохлик, потому что его очень балуют. Это правда. Ему даже разрешают спать на большой кровати вместе с хозяевами. А мне не разрешают, потому что я могу крепко уснуть и напустить в кровать чёрных шариков. Хозяйка говорит, что они твёрдые и спать на них неудобно.

ПРО БЛОХ

Из-за Чебурашки у нас живут блохи. Каждый день разборки – чьи они? Я знаю, что они – Черурашкины. А хозяйка говорит, что мои, потому что я грязнуля, мало себя мою, а Чебурашка чистенький, в таких блохи не водятся. Я сам видел, что водятся. Если он такой чистенький, зачем его ежедневно моют шампунем? Меня совсем не моют, шампунь для зайцев ещё не придумали, а мылом я не даюсь. Один раз оно мне в глаза попало, очень щипало. После этого я не даюсь, хожу грязный. Я ссренький, на мне не видно.

ПРО ЧЕРВЯКА ВАСЬКУ

Два дня у нас жил червяк Васька. Его нашли в капусте, которую купили у турков. Капусту покупали для меня, значит червяк мой. Всё равно я согласился играть вместе: я, Чебурашка и червяк. Играли в прятки. Сперва мы с Чебурашкой прятались, Васька нас находил, потом мы его. Чебурашка один раз нечаянно перекусил Ваську, получилось два червяка, каждый играл со своим. Потом оба червяка издохли. Хозяйка радовалась: какое счастье, что её Чебурашка не успел отравиться! Получается, что если маленькие зайчики, то есть кролики, у которых умер друг, отравятся, это ничего, а если Чебурашка – ужас!

ОСА ЗИНКА

У нас есть знакомая оса. Её зовут Зинка. Больше всего на свете она любит чай с сахаром. Когда на балконе хозяин пьёт чай, он на дне стакана оставляет ей сладкую капельку. Зинка – глупая оса. Сперва она лижет стакан снаружи и удивляется: почему чай не сладкий, пошастает по стакану вверх-вниз и только потом догадывается влезть вовнутрь. Иногда к ней прилетает пчела, они дружат. Пчела умеет варить мёд. Она хочет наварить много мёда – целых полбанки и всех угощать. Зинка так не хочет, она хочет, чтобы пчела всех кусала, а не угошала. Однажды, когда Зинка была в стакане, Чебурашка сунул туда нос, хотел поиграть. А Зинка его укусила. Нос распух, не нос, а красная редиска. Стал сам на себя не похож, соседи спрашивали: «Что у вас теперь новая собака?». Хозяйка сказала, что если мы с хозяином будем смеяться над Чебурашкой, она всех нас пошлёт к чёртовой матери. Интересно, какая она, чёртова мать? Добрая, раз к ней всех посылают. Моя хозяйка тоже добрая. Она каждый месяц собирает партии, чтобы показать, какой Чебурашка красивый и как он вырос. Все гости говорят, что Чебурашка замечательный пёс.

ОНИТЯ ПРО МЕНЯ

Про меня никто не говорит, что я замечательный. Говорят только, что я удивительный экземпляр. Похож на крысу без хвоста. Не понимаю, как это на крысу? Как это без хвоста? Хвост есть, маленький, зато пушист-

тый. А уши. Таких у крыс не бывает, у них почти что одни дырки, а у меня ушки длинные. Если положить их на спину, он достанут до начала хвоста. Крысы своих ушей никогда не моют, а я свои — каждый день.

ПРО КАРИН

Дочку фрау Вайсен зовут Карин. Ей столько же лет, сколько мне. Почти что три года. Мы с Карин дружим, она зовёт меня Зайчик, потому что Кролик не выговаривает. Когда никого нет дома, мы с ней вместе едим морковку. Разгрызать морковку Карин не умеет, я ей разгрызаю. Потом она для меня разгрызает яблоко. Она всё ест из моей и из Чебурашкиной миски и пьёт Чебурашкино молоко. Потом мы с Чебурашкой едим её кашу. Доктор говорит, что Карин много весит, ей нужна диета. Все удивляются, какая диета, если ребёнок так мало ест?

ПРО ХОЗЯИНА

Хозяин считает, что мне пора заводить семью. Обещает принести из зоомагазина девочку микрокрольчиху. Мы сделаем много детей. Фрау Вайсен сказала, что она такого не потерпит, хватит с неё дармоедов. Она всех выгонит. Хозяин считает, что к концу года у нас будет большая семья — сорок семь миникроликов. Жить мы будем в кабинете у хозяина, там много книг. Приходите к нам в гости, вместе во что-нибудь поиграем, поедим Каринину кашу и погрызём книги.

АФГАНКИ

В дверь позвонили. Открыл. На лестничной площадке стоял приятель Володя, держал на поводке двух молодых борзых-афганок. Не глядя мне в глаза, промямлил, что у него путёвка в альплагерь. Он просит приютить собачек всего на три недели.

Зову жену:

— Катя, иди сюда!

Афганки смотрели на Катю внимательным, оценивающим взглядом. Так могут смотреть только женщины на перспективного мужчину. Выхода не было, мы с Катей согласились. Только на три дня. Афганки подошли к Кате, признательно протянули правые лапы. Катя давно мечтала о собаке. Из живности у нас была только морская свинка, вернее свин, и попугай Гоша, который жил на вольном поселении, то есть во всех комнатах сразу, клевал и пачкал антикварную мебель — дедушкино наследство. Против афганок Гоша не возражал, предвкушая удовольствие подёргать их за хвосты. После обеда афганки опять подошли к Кате, лизнули ей руку и тихо улеглись. Наутро, очарованные афганками, мы ушли на работу. Когда вернулись, обнаружили на полу изгрызанные остатки дедушкиного кресла вперемежку с осколками Кузнецовского сервиза. Катя не из тех людей, которые пытаются искоренить зло, а всячески его оправдывают.

– Собачкам одним скучно. Ты даже не подумал позаботиться об игрушках!

Высказав всё, что я об этом думаю, побежал в Детский мир за игрушками. Назавтра обнаружилось, что головы и лапы у игрушек отгрызаны, шторы вместе с карнизом лежат на полу. На третий день был опрокинут туалетный столик, остатки косметики зарыты в нашу постель. Утром, едва дождавшись когда Катя уйдёт, я решил поговорить с собаками. Для начала ограничиться несколькими фразами, но не удержался. Говорил минут десять, оборвав себя на фразе:

– Мерзкие суки, лежать!

Суки подняли головы и слегка вякнули.

– Молчать!!!

Хлопнул дверью и отправился на работу.

Добежав до автобусной остановки, обнаружил, что забыл очень важную папку. Вернулся, лифта дожидаться не стал, побежал наверх и уже на третьем этаже услышал, как в нашей квартире кто-то кричит моим голосом:

– Лежать, кому сказано! Молчать!

Гоша победоносно разгуливал по кромке шифоньера, заложив крылья за спину, пронзительно кричал на бедных собак. Иногда он сбивался на другую тематику:

– Катька, неси суп! Неси суп, я сказал! Лежать!!!

Бедные суки распластались на полу, как медвежьи шкуры, не решаясь поднять головы.

Через три недели вернулся Володя. Загорелый, сияющий:

– Ну как мои девочки? Хорошо себя вели?

Взглянув на нас всё понял. Потупился. Забрал собак.

Катя была безутешна. Всю ночь проплакала. Выяснилось, что она уснула безумно полюбить этих сук.

ДОРОГА (Этюд)

Слова Ивана Федоровича, которые он произнес дважды и второй раз наклонившись прямо к моему уху «Ну будем сумку перекладывать?», не воспринялись. Среди толпы и гама, обрушившихся на меня, его предложение показалось мне безумным. Но, по-видимому, я и сама впала в какое-то странное состояние после того, как дотащилась с Кутузовского до 116-го автобуса и с конечной остановки 116-го до Белорусского, останавливаясь, оглядываясь, не встречает ли кто? Увешанная рюкзаками, подтаскивая по асфальту большую сумку, которую не в силах была уже поднимать от земли, я думала, что очень странно выгляжу и оттого видна за версту. Но в водовороте толпы все были такие, и те, кто пошли меня встречать, меня не заметили. Или пошли другой дорогой.

Как долго ошарашено стояла я у памятника Ленину? А потом напротив него у табло с расписанием, где мы условились встретиться? Если дождь, то в зале. Есть дождь или нет? У всех приезжающих и отъезжающих теперь одинаковые полосатые сумки, называемые еврейские мешки. Моя стоит в луже, я её подвинула, посмотрела, правильная ли платформа, и вдруг узнала спину и небрежно-размашистую походку уходящего Бори. Закричала, начал говорить громкоговоритель и заглушил мои крики. На часах стало 15.15 – делать нечего, я снова потащила сумки и когда дотащила их наконец до своего вагона, Боря закричал: «Ну где же вы? Ты что, одна? А где же все? Вот она наконец! А я тебя уже спрашивал!»

Проход вагона весь завален – нет, не чемоданами, кто же теперь ездит с чемоданами – сумками, мешками, колясками. Мое купе последнее. С какого-то момента стало казаться, что не пройти ни назад ни вперед. Боря чертыхается. Назад во всяком случае уже дороги нет и сюда никто больше не пройдет. Где же они?

Но Боря все же ушел. Моего отчаяния нельзя показывать соседям, так как они и так уже начали заваливать места под сиденьями своими вещами. Этого допустить нельзя, куда же я буду прятать с глаз таможенников Ларисину швейную машинку и все вещи, в которых даже если нет никакого криминала, то их много.

«Уберите свои вещи из-под моего сиденья, это мое пространство, сейчас мне принесут еще четыре места, куда я их должна деть?» – это я говорю соседке.

«Это ваше дело, заказали бы себе купе. Половина нижнего пространства наша, проводник, скажите!».

«Ну не принцип, – говорит проводник, – как-нибудь договоритесь».

И вот наконец снова чертыхающийся Боря. За ним Юра Павлов. Две

коробки, еще одна полосатая сумка, мешок с машинкой.

– «Сюда! Да нет, не сюда» – «Под сиденья!» – «Не умещается». – «Под стол!» – «Не умещается». – «Туда». – «Нет, не туда» – «А чёрт, бросай их в коридоре, потом тебе молодой человек поможет!» – «Какой молодой человек? Чего он поможет? Господи, какие мои? Эти мои? А эти мои?»

Именно в этот момент возник Иван Федорович. Он стоял за окном и подавал через окно мне что-то, я протянула руки, это была барахтающаяся и сопротивляющаяся Черри. По правде говоря, я совсем уже забыла про нее, про Черри, про все, кроме – куда вещи? – и тут в моих руках забился пушистый ком, запутавшаяся в поводке, одуревшая от страшной неизвестности и шума наша, моя Черри. Она наконец поняла, лизнула в нос, пушистым теплом прильнула к шее.

Сосед сказал: «Еще и собака! Ну прямо, как в анекдоте про еврейскую передачку».

Перешагнув тюки, в дверях купе появился человек, ни к кому конкретно не обращаясь, он сказал: «Я – Миша, это сумки с книгами для Володи». Это было, конечно, мне.

Я перестала пытаться что-либо делать. Я села и сидела за стеной из ящиков и коробок с Черри на руках. Уплыла куда-то, откуда видно, что все кричат, но шум доносится как сквозь вату.

«Уберите вещи! Вы не одна! Я – руководитель группы! Она из моей группы! Я должна о группе заботиться!»

И вдруг во мне включился расчленитель шумов. Стучали громко по стеклу в коридоре вагона. Я очнулась, выплыла как из моря, раздвинула людей, перешагнула ящики и с Черри на руках оказалась у окна, за которым на перроне стояли все мои провожатые. Они приехали издалека проводить меня. Уж если еще других я могла считать виноватыми в нашей общей бестолковости, то Алеша и Мила были совсем не виноваты, так как я сама сказала им не приезжать за мной на Кутузовский – я хотела свободы и все утро бегала по книжным магазинам.

Поезд тронулся, последним еще было видно, как махал Алеша. Я вошла в купе.

«Ну прямо еврейская передачка», – сказал сосед. «Вы правы – в Берлине живут евреи, я везу им вещи». – «Значит, моя интуиция меня не подвела? Моя интуиция меня бережет, говорил Маяковский». – «Маяковский никогда этого не говорил, а у вас если бы была интуиция, вы бы тоже ничего не сказали».

Седловице. Ночь кончилась. Свою границу так или иначе за ночь проехали.

Мы с Черри спим, умещаемся, сумка в ногах, сумка в голове. Черри понимает, что мы едем. И всякий раз, как поезд громыкает на перестыках, подъезжая к станции, она боясь, что я просплю, рычит и будит меня.

Полный ревизор спрашивает, где чьи сумки, чьи ящики, приписывают мне все, и мои и чужие, и говорит: «Платите за превышение багажа. Нормы тридцать».

Верхние молчат, соседка принадлежит к группе, я говорю, что у меня и так тридцать килограмм. Он стоит, занимая собой все свободное место в купе.

«А сколько же вы хотите?» – «Сколько?». Посчитал в блокноте: «Готовьте по шестьдесят тысячёнц». – «Я из группы», – говорит соседка. – «Сколько человек?» – «Двадцать».

Ушел. Слышно, как в соседнем купе говорит: «Группе – с каждого по доллару».

Ну, думаю, и слава Богу, этим удовлетворится, пронесло. Нет, опять возник, вдвоем, второй пониже, но такой же крупный.

«Эта сумка твоя?» – «Моя» – «А эта?» – «Эта не моя» – «Коробки твои?» – «Мои» – «Багаж тридцать килограмм!» – «У меня и есть тридцать килограмм» – «А под сиденьем?» – «Под сиденьем не моё» – «Чье?» – «Тележка соседей» – «Ваша?!» – «Да нет, наша только совсем маленькая коляска» – «Плати штраф» – «Да нет, мои только три ящика». – «А под сиденьем?» «Под сиденьем не моё». – «Плати штраф». – «Сколько?» Вынул блокнот, посчитал «Девяносто тысячёнц до Варшавы за превышение веса» – «Хотите 100 рублей?» – «Не!» – «У меня нет больше». – «Давай десять долларов». – «У меня нет долларов» – «Ну не хочешь, давай паспорт, отметку сделаем за нарушение». – «Да нет, какой паспорт!» – дала зелененькие пять марок, сказал: «Добре» – как облизнулся, и пошел в другой вагон.

Наверху соседи ругаются. Сережа говорит: «Я тебе подарю метлу и совок. Ты – татарка, а я русский. Россней должны править русские». – «А что, Ельцин не русский?» – «Какой же он русский, у него жену зовут Наина».

Подругу Сережи зовут Фаина. Они не из группы. Они сами по себе. Группа – это другое: нестарые женщины, иногда приближенно-интеллигентного вида – если не слышать их разговора. Трое-четверо молодых всегда курят в коридоре. «Бядь» и «еваная» составляют половину в потоке их речи. Когда подходят к моей златокудрой Черри, сюсюкают – принимают во внимание, что Черри их потока речи не поймет. И каждая спрашивает: «Вы везете собачку продавать?»

Фаина, хотя и видно, что она старше Сережи и вообще как бы ему не пара, при нем молчит, а когда он выходит, говорит, что нет, надо его бросать. «Его пора бросать, он трус и нервный». Хотя он вещи носить помогает и продает хорошо, торгуется, никогда за бесценник не отдаст. Но все равно надо бросать.

«Убери лодку, оставь её лежать наверху, зачем ты снял лодку? Он – трус. В прошлый раз с него взяли штраф за лодку, теперь он её выстав-

ляет. Оставь её там лежать, ну я тебе говорю – положи её наверх».

Едем. И вдруг все прыгивают с полок. В чем дело? Ещё полчаса назад на границе ни у кого ничего не было, теперь все что-то несут польскому перекупщику: фотоаппараты, пилю, бинокли. Торгуются.

Купленные в России за три тысячи рублей бинокли отдают перекупщику за 320-400 тысячёнц. Я спрашиваю, почему не продать потом самим подороже.

«Да они как обступят, десять человек, станут смотреть да спрашивать, так все остальные товары разворуют. Лучше уж здесь отдать».

Что везут? Зояпа говорит, что у нее одни тряпки. У Фаины – водка, бритвы-станки. «Мало? Еще в тот раз не распродали, осталось в Польше».

Фаина, по-видимому, бывший фельдшер. Серёжа говорит, что кончил в Уфе нефтяной институт, полтора года работал на Кубе, женщины там замечательные. «Сколько вы выручаете за поездку?». Фаина отвечает, если она одна. – «Надо знать, что везти. Лучше всего вырученные шмоты менять сразу на доллары и везти в долларах, а потом уже у себя менять на рубли. 300 долларов. Много? Или мало?» – «Порядочно. Я за лекцию получала 400 марок». – «За одну лекцию?!» – «Да ведь к ней надо готовиться, да и найти её». – «Я всегда говорил, что интеллектуальный труд выгодней», – говорит Сережа. – «Нет, выгодней, если хорошо купить и везти назад вещи, то выручишь вдвое».

Это говорит Зояпа, узбечка из Чимкента. Она более открыта.

«В последний раз еду. В мои года мешки таскать, муж не знает, никому не говорю. Уехала. Куда? То к подруге. То к родным. На курорт. У меня всегда путевки на курорт есть, муж заботится. Он у меня никогда отчета не спрашивает, где я, что я делаю. Спросит, скажут, погостить поехала. Нет, дома не живет, он управляющий большим хозяйством. Ну может и есть кто, это не мое дело».

«А мы дома готовим на шестнадцать человек, три дочери, девять внуков. Потом расходимся по своим домам. А я, если еду, я всегда не просто так еду, я кому-то помочь хочу. Сноха болела, лекарства, вливания ей и детям на эти деньги покупала. Думала, уже больше не поеду. А теперь у дочери всю квартиру обокрали. Внук плачет, бабушка, в чем я теперь в школу буду ходить? Ну потерпи, говорю, только две недели, я тебе все привезу. Но это уж последний раз».

Когда ходили таможенники, то они только пугали, но ничего не смотрели, так как договорились с группой. Мы все отмалчивались, что в это время скажешь? Затаишься и ждешь, чтоб пронесло. По Зоюпе было заметней всего. Она сидела, лежала, вставала, бормотала. Когда они казалось совсем ушли из вагона, взглянула в окно, схватилась за сердце. «Вот тот, рыжий, на перроне. Смотрел в прошлый раз. Все вещи из всех сумок свалил в одну кучу. Так матерился... Тебя никогда не выводили?

Меня выводили».

Я смотрю в её заброшенное бледное лицо, чувствую, как ей плохо, но понимаю, что без поездок жизнь потеряет для неё свои краски.

«Чего только не было. Это уж я теперь всё знаю, никто не обманет. А раньше и товар весь отбирали».

Группа «договорилась» и с проводником Славой, и поехали до Познани, вместо того, чтобы сойти в Варшаве. Когда они стали выгружаться, тогда я только увидела шесть огромных сумок Зояпы. Значит, это за нее так клевала меня их руководительница, а теперь она приходит к нам, пахнет вином и говорит: «Ну вы на меня не сердитесь».

О моих было столько разговоров, а её спокойно ехали под сиденьем.

«Как же с ними передвигаться?» – спрашиваю я.

«А у меня коляска особенная, все поместятся. Да мы в группе помогаем друг другу».

Группа выставила вещи в коридор и стало опять как при посадке – по коридору не пройти. Перешагивая через сумки и коляски, группа передает вещи по цепочке на перрон. А я, подбородком касаясь нежных кудрей Черри, наблюдаю, как растёт куча баулов на познанском перроне и думаю, что знаю их всех теперь, как свои пять пальцев. Это они говорили мне, что мне надо было заказать отдельное купе? Или, как советовала тогда Зояпа: «Вы купили бы два места».

Интересно, кто бы мне продал на один заграничный паспорт эти два места? И ведь это Сережа, друг Фаины, тогда своим впечатляющим голосом заметил: «Да нет, я понимаю, конечно, это дорого, сколько вы платили за билет?» – Это при том, что у них, у каждого по шесть пузатых, неподъемных, но хорошо вписывающихся в габариты вагона, сумок-баулов?

И пока они стоят у их общей горы вещей на перроне, я думаю о них, об этом передвижении товаров. Сперва на муравьиных плечах с усмешкой воспринимавшихся вначале русским народом вьетнамцев, потом перебрасываемых вот так руками «русских» женщин. В него как бы вовлечены все бывшие советские, которых и называют русскими.

«Какой же он русский, Ельцин, у него же жена Наина? А у Гитлера мать была еврейка. Править Россией должны только русские. Ельцин не русский. Хасбулатов насадил чечню».

Их отличает уверенность в своем понимании жизни, предрассудки, презрение и пренебрежение ко всем остальным. «Поляки разбогатели», – рассуждает Сережа, – «вывезли все из России, всё золото, все товары, и живут лучше нас. И они же грязные. Так с виду чистые, а в домах грязные».

Что же за смешанное чувство осталось у меня от Москвы? Погружение в кипящее море жизни, которое захлестывает с головой, из которого выныриваешь, чтобы едва набрав воздуха, погрузиться снова, перед тем

как следующий вал хлестнет тебя по морде. И мои попытки устоять, не утонув и не сбежав.

Москва стала легче, светлее. Люди улыбаются. Чем-то стало похоже на Польшу – в восьмидесятые годы, когда мне впервые удалось прорваться через партком и кордоны, чтобы съездить по приглашению в соцстрану. Там тоже по всем переходам стояли старушки, каждая что-нибудь продавала и иногда засыпая склонялась, чуть не падая над своим мизерным товаром. Там тоже невозможно было понять, на что живут люди, если средний уровень жизни выше их заработной платы. «Мой сын, – говорили мне с оттенком удовлетворения, – получает сто сорок долларов в месяц».

В Москве пока еще не платят долларами, но если перевести сто сорок долларов по сегодняшнему курсу двести рублей за доллар, то получится двадцать восемь тысяч рублей – такой зарплаты у моих знакомых вроде нет, хотя у Наты зарплата десять тысяч, а у меня пенсия две пятьсот. Если делить все на коэффициент пятьдесят, отражающий в среднем изменение цен с сентября 1990, то получится, что Ната получает двести рублей, а я пятьдесят. А ведь в моем расчете при увольнении стояло, что я получаю шестьсот пятьдесят рублей!

Как всегда, все жалуются, но в толпе нет того заряда агрессивности, который был в прошлый раз. Когда все бежали с сумками и острым взглядом заглядывали в твои – где, что, как достал? – считая тебя за конкурента.

Бабка на кладбище. Всегда на своем месте, собирает на часовню. Сколько раз ни пройдешь, столько раз скажет: «Помогите на часовенку». Положила ей зелененькую бумажку три рубля, она сказала: «Хлеб-то стал, говорили, двадцать четыре рубля». – «Не, неправду сказали, сегодня покупала – одиннадцать». Но это, видимо, было не про хлеб, а про малость моего пожертвования. А у меня свои мерки – милостыню подают мелочью, а если щедро, то рублями.

Как-то раз слышала её брань, и больше к ней подходить не захотелось. Я бывала на кладбище через день, мы с Алешей заказали маме памятник, и заказ расчленился на этапы – выбрали черную плиту из гранита габро, потом ставили цоколь, потом буквы – надпись и цветок. Мастер Витя все спрашивал, какой цветок. Я ему нарисовала свой, а он продолжал спрашивать. Я говорила: «Вот такой. Точно такой. Авторский рисунок». В следующий мой приход все повторялось.

Немецкий язык давно вытеснил из моей головы английский, а теперь, видимо, начал уже и русский вытеснять, так как я никак не могла ему объяснить какой. «Ну роза?» – «Только не роза!» – «А что?» – «Ну я же нарисовала, просто цветок, условный цветок, детский цветок, стебель и опущенная головка, вот и все». Потом поняла, для него надо было сказать: «Полевой цветок».

У трамвайной остановки, где я накануне покупала рассаду желтых маргариток, увидела ссору двух торговок: «Где это ты их сама выращиваешь? У тебя участок четыре сотки!». И они были готовы вцепиться друг другу в седые волосы. Мне непонятно, за что две старые женщины вступают в драку?

Нищие. Кто выставляет безножье. Кто сидит с ребенком, протягивая руку. Почему дети всегда спят у нищих, или они им дают что-то? На переходе в московском метро чисто одетая бабка держит в руке маленькую иконку, благословляет прохожих, поток несет меня мимо, но, пошарив в карманах, я к ней возвращаюсь. Около бабки уже стоит женщина, и у бабки оказывается такой сердитый голос: «А ты мяса не ешь. А ты его не неделю, ты его совсем не ешь». Боковым зрением заметила, выхватила мой рубль и отвернулась, как отмахнулась от мухи.

Нет, не бегают теперь, в сумки друг другу не заглядывают. У старушек в сумочках только что-то на донышке болтается, не спросишь, не помочь ли нести. Молодые смеются, одеваются, держат свой московский стиль. На саратовском ВЦ, бывало, говорили: «Нет, у нас в Саратове лучше, чем в Югославии, одеваются».

Может быть, привыкли уже жить в более динамичной обстановке, а раньше жили, как в вате? Может быть, перестали копить всё на все завтрашние дни, набивать углы крупой, солью и спичками? И тряпками? И посудой. И всем, чего завтра не купишь. Меньше, но не перестали. Грозят новые повышения цен. Те, кто могут, строят, пристраивают новые шкафы-кладовки, покупают новые холодильники, роют погреба.

Раньше в воздухе была разлита открытая алчность. Теперь у тех, кто не может, все больше появляется новое чувство, прожили сегодня, как-нибудь проживем и завтра. Апокалиптического настроения убавилось, хотя в типографски отпечатанной листовке стояла точная дата – мессия придет 31 октября. Хотя, впрочем, еще не наступило.

Очень много книг мистического содержания. Но можно найти и на любой вкус. Я купила примерно на тысячу: компьютерные книги и журналы, Гессе, семитомник Солженицына – не за имя, за эпоху.

Пожалуй, это одно из самых приятных московских ощущений, доступность которого для себя я завоевала через ломку некоего стереотипа. Так странно читать книгу по-русски. В дороге я неуверенно открыла купленного на московских прилавках Гессе «Игра в бисер и рассказы». Сначала кажется, что это будет неинтересно – на русском – не напрягаться. Потом оказывается, все равно надо напрягаться. Тем более в поезде. Тем более в нашем купе. С Черри на руках. Между ящиками и сумками. С мыслью о таможенниках и еще не проеханных границах.

Такое ощущение, что в Москве все занимаются коммерцией. Один знакомый, доктор наук, организовал связи с Китаем, нет, не научные, изготавливает кроссовки. Другой работает на телефоне посредником

по продаже больших партий товаров. Третьи покупают и перепродают мелкие партии. Нату пригласили в фирму, продающую видеоклипы, надо выдавать в день столько-то страниц на английском. В фирме всего десять человек и все работают, не вставая, с утра до вечера. На старой работе её зарплата была семь с половиной тысяч рублей, под конец ещё прибавили две с половиной тысячи, правда, давно не платили. Сколько же ей денег должны платить на этой? А некоторые продолжают получать, как уверяют, тысячу двести. Прожиточный уровень считается три с половиной.

Алеша все покупает в магазине для ветеранов. Как он говорит, им гуда стараются привозить подешевле. Получается, что теперь надо не просто искать, как раньше, а искать, где дешевле, разница может быть на порядок.

На наш небольшой сбор Алеша купил мясо по девянсто рублей за килограмм, а бывает, сказал, и по тысяче, и срезал много жира на выброс, так как бараний жир, оказывается, вреден. Я попросила не выбрасывать, я его лучше отдам ничейным собакам. В последний день пошла положить эти остатки к контейнеру в начале двора на задах магазина. Там обычно подкармливались собаки. Сейчас около таких контейнеров можно увидеть старых людей, на Остроумовской видела и солдатиков, выбиравших капусту. И от этого тоже отошла старушка. «Бабушка, постой! – закричала я, – у меня вот тут жир хороший, может собаке или кошке пригодится?»

Была она опрятно одета, в коричневом платочке. Заглянула в мой сверточек.

«Нет, – сказала, – собаки у меня нет. Если бы ты мне хлебушка дала, другое дело». «Хлеба? Хлеб есть, но дома... Постой! Бабушка, миленькая, на вот тебе на хлебушек». Она отстранилась. Мне и самой было странно отдавать ей эту красненькую десятку, а ведь это было как раз на буханку хлеба. «Возьми, не сердись». Я поцеловала её в щеку. Щека была чистая и прохладная. И все как-то во мне перевернулось.

...Один доллар, шесть тысячёнц, двадцать пять тысячёнц, по десять долларов таможеннику, по доллару ревизору, по доллару проводнику, платить за ночлег хозяину. А собаку вы везёте продавать? И уж совсем слабый спросит – а собаку вы везёте дарить?

Открыла Гессе, рассказ «Нищий». Дети гуляли с отцом, встретили нищего, нищий был непонятен и страшен, а отец весел и добр, он сказал нищему: «Голубчик, у меня нет денег, да знаешь, и не стоит человеку давать денег, чтобы не было соблазна истратить их на другое, а вот пойдем-ка сейчас со мной, я для тебя попрошу у знакомого пекаря такой хороший каравай». Отец оставил детей и ушел. Дети были полны ужаса перед нищим, а он перед ними и ожиданием. И прежде чем отец, сияя, вышел с розовым караваем, он пустился наутек. Отец беспречно рассме-

ялся.

Конечно, ты начинаешь считаться мелочным, если не хочешь дать другому отнять твое. Ты мелочен, а не он. Так мелочен мирный обыватель перед лицом грабителя.

Но вот же и я попала в число стаи за то, что ехала вместе с нею. И заплатила оброк в пять марок за груз, хотя и говорила, что мои только три тяжелые вещи. Они – мешочники, как говорят о них другие. Они – великая сила межэкономических связей. Как евреи – символ переселения.

Сейчас они все двадцать человек сойдут. Мне интересно посмотреть на них из окна. Я и раньше уже, казалось, видела их. Но впервые подошла к ним так близко. Проводник Слава провожает их на познанском перроне, говорит им на прощание: «Вы уж меня извините, вас и так все обирают, и я тоже».

А Гессе размеренный, многоречивый, ткущий свою длинную пышную речь. Это другое поле жизни. А ждущие меня в Берлине, захлебывающееся от открывшейся новой жизни мои знакомые? А оставленные в Москве, пришедшие меня провожать Алеша и Мила, с которыми я, сметённая валом посадки, так и не повидалась и не подержалась за руки и не взглянула ласково в глаза? А Натуля, едва стронувшаяся со своего места, как её понесло на льдине новой фирмы в разлившееся половодье, куда ее вынесет? Устоит ли, удержится, или опять, схватившись за шест, заплывет в спокойную бухту?

Моя жадность – увезти московское, даже если его потом придется выкинуть. Неужели мы все живем в Германии для того, чтобы построить в России дачи? То есть, такие же, как они – эта вереница торговцев, своей надрывной истовой энергией создающих межгосударственные связи и течения. Досадно, что год назад я не купила Льва Гумилева, может, он говорил о том же? Хотя все-таки он же есть у нас в фотокопии.

Тогда я еще не поняла, что можно покупать что хочется. Я сперва сообразила, что можно помогать другим или вкладывать деньги в предпринимательство. Не в этом ли смысл этой третьей эмиграции, о которой я так много думала два года назад, приехав в Германию и ощутив себя в стремительном потоке подобных мне, стронувшихся со своих мест и все же истово пытающихся сохранить Россию. И от каждого уехавшего протянулись два мощных луча: с запада на восток и с востока на запад.

Или это мудрый смысл немецкой политики? И поэтому я валяюсь тут в купе, заставленная чужими и своими ящиками и сумками? Еврейская передачка. А что, я угадал? Интуиция подсказала? Похожи поляки на русских? Все похожи друг на друга. И вы на вьетнамцев. И все выискивают у другого самых плохих его представителей, чтобы потом сказать: все они такие.

Вот и ушел назад перрон с этим трудолюбивым народцем, не любящим, как у нас говорят, выпить и помахать языком, жалующимся на

судьбу, рискован и азартен, и как истинные игроки, зарекающиеся – в последний раз. И проводник Слава ощущает, как и я, свою общность с ними. – «И я тоже обирающий вас».

Я осталась одна во всем вагоне, и даже без проводника Славы, он ушел в другой вагон спокойно пообедать. То, что я одна, означает все же, что связи между Россией и Польшей более истовы, чем между Россией и Германией. Или, может, они осуществляются другими поездами и самолетами? Потеряно представление о прошлом. Когда и как было раньше?

Только я расслабилась, что все позади, ну вот и приехали, тут пришли немецкие ревизоры и предложили купить билет для Черри, правда, недорого, семь с половиной марок. А ведь могли бы взять и за багаж. Интересно, что чем дальше, тем все дружелюбнее входящие.

Герои в сказках боролись с разбойниками. Зачем они ехали куда-то? За аленьким цветочком. Почему мы больше не читаем волшебных сказок детям, а всегда какую-то чушь про составных лебедей? Не показывается ли это раздробленность сегодняшнего людского сознания?

Я постепенно после дороги обретаю себя. Черри себя тоже. Сначала она была вялая и, когда выходила гулять, писала только по рабочей необходимости. Потом мы стали с ней бегать, и это пошло нам обоим на пользу. По Черри это очень заметно. Её хвостик опять поднят, и она записывает чужие следы.

У Гессе – как взрослые при детях замолкали, осуждая жизнь общества, не принадлежащего к их кругу. А у нас? Или это просто разница сословий? Тех, в которых ребенку долго дают быть ребенком, парить в сфере образов детского восприятия мира, и тех, в котором ребенок сразу вместе с родителями участвует в их оценках и суждениях, в их реакциях на окружающий мир? Разные времена, разные страны, разные теории...

* * *

От обилия влаги ли,
От предчувствия вьюг
Перелётные ангелы
Улетают на юг.

Серебристая вольница
Над домами парит,
То ль поёт, то ли молится,
То ли учит иврит.

Что грустить понапрасну нам?
Мы помашем вослед:
В этом городе пасмурном
Места ангелам нет.

Переписана набело
Песня долгих разлук.
Перелётные ангелы
Улетают на юг.

* * *

Не нам костёр в тумане светит,
Напрасный труд – во тьму кричать.
Нас потому никто не встретит,
Что просто некому встречать.

Дымятся за спиной руины,
Но только снова поутру
Разбудит нас напев старинный,
И искры гаснут на ветру.

* * *

Ревут тромбоны на вокзале,
Из кожи лезут трубачи.
Мы обо всём уже сказали,
Теперь о главном помолчим.

И на последнем полустанке,
Когда домой возврата нет,
Гремит «Прощание славянки»
С одним евреем средних лет.

Марш перепонки сокрушает,
Грохочет медью по виску,
Но заглушает, заглушает
И боль, и горечь, и тоску.

* * *

Меня здесь нет.
Я в том разбитом доме,
Где прадед был зарезан при погроме.
В той мерзлоте.
Где стынет много лет
Свинцом в затылок вычеркнутый дед.
В чужом краю,
Где в воздухе змеится
Дахау дым и пепел Аушвица.
А здесь – не я,
А я в мирах иных,
Где не найти свидетелей живых.
Но ангел смерти
Огненным крылом
Там осеняет память о былом.

* * *

Наши Ханааны,
Наши Назареты
В белые туманы
Наглухо одеты.

Уж не помним сами,
Сколько колесили –
То ли небесами,
То ли по России.

Не найдя дорогу,
Не узрев просвета,
Мы взываем к Богу –
И не ждём ответа.

МАЙОР ИСТОМИН

Осенью сорок пятого, сразу после окончания войны, я поступил в Военный институт иностранных языков. Начальником курса у нас был майор Истомин. Это был общевоинской офицер, который всю войну ошивался в тылу и представления о фронтовых буднях черпал в основном из кадров кинохроники. Майор во время дежурства по институту одевал полковничью папаху, кавалерийскую саблю и шпоры, хотя никакого отношения к кавалерии не имел: таков был порядок, заведенный начальником института генералом Биязи. Сабля при маленьком росте была велика для Истомина, и он, опираясь рукой на эфес, постоянно придерживал её. В таком опереточном прикиде он фланировал по институту и бдительно следил за порядком. Человеком он был не злым, но несколько ограниченным и грубоватым. Истомин был не только нашим «классным дядькой», но и читал нам «Историю военного искусства». На своих лекциях он веселил нас своими эскападами.

«Итак, на чем мы остановились в прошлый раз? – Ага, так вот: Александр Македонский... Тут он остановился и, набрав в грудь воздуха, победоносно выкрикнул: «На белых слонах завоевал всю Индию!». Затем оценивающе посмотрел на аудиторию «как, мол, я», и уже спокойнее продолжил: «Не всё его войско, правда, на слонах передвигалось, некоторые и пешком шли. Небось, и тогда у них в сапогах, или что там они носили, портянки были». И вдруг лектор безо всякого перехода обратился к Маше, к нашей единственной девушке, одевшей курсантскую форму всего неделю тому назад: «Вот вы, слушатель Гвоздева, умеете правильно намотать портянку?» Лицо девушки залилось краской: «Нет, не умею». Майор вышел из-за стола, снял сапог, поставил ногу на стул, размотал портянку, а затем не спеша, по всем правилам намотал её снова. Такие представления на лекциях Истомина происходили довольно часто.

Однажды, будучи дежурным по институту, Истомин явился к нам на факультет. Наш сокурсник лейтенант Воробьев-Генкин командовал «смирно» и доложил: «На факультете никаких происшествий не произошло. Дежурный по факультету лейтенант Воробьев-Генкин». Майор недоумённо уставился на него, а затем спросил с раздражением: «Почему двое?». Дежурный и все окружающие опешили. Через несколько секунд дежурный пришёл в себя и принялся объяснять: «Товарищ майор, это у меня двойная...» – «Молчать, – вдруг рассвирепел майор, – я спрашиваю, почему двое?» Как ни старался дежурный по факультету внести ясность в происхождение своей фамилии, Истомин так ничего и не понял. Несколько поостыв, он принял единственно правильное по его разумению решение: «Нечего вам тут вдвоём небо коптить: Воробьев остаётся дежурным, а Генкин отправляется с пакетом в штаб округа». И ушёл. Как только майор скрылся за дверью, коридор дрогнул от хохота.

Никаких солдат при институте не было. Поэтому мы ходили в наряд и выполняли все хозяйственные работы сами. Назначили меня как-то начальником караула. Моим непосредственным начальником был дежурный по институту, всё тот же майор Истомин. Где-то около полуночи приходит он в караульное помещение и сразу ко мне: «Цфасман сидит?» – «Какой Цфасман, товарищ майор?» – «Ты что, Цфасмана не знаешь, лейтенант с нашего курса, у которого музыка есть». Со мной на одном курсе учился лейтенант Блантер, сын известного композитора. Это я знал. Но о Цфасмане не слышал. Может Истомин фамилии композиторов перепутал? «Цфасмана здесь нет, товарищ майор» – «Как нет?» И тут он разразился гневной речью: «Ах, сукин сын! Я же его сегодня в общежитии застукал и велел явиться в караульное помещение, чтобы он на губе трое суток отсидел. Ничего, никуда не сбегает, теперь ещё не так от меня получит!» – и ушёл, оставив меня и всех окружающих в полном недоумении.

О том, как было дело, мы узнали на следующий день. Три наших офицера, сбежав с лекции по марксизму-ленинизму, пошли в общежитие, раздобыли где-то гитару и уютно устроились в одной из комнат. Сняв предварительно обувь, они по-турецки уселись на кроватях. Тут то их и накрыл Истомин, который, как мы уже знали, любой музыкальный инструмент, будь то пианино, гитара, аккордеон и т.п., называл одним словом «музыка». Увидев майора, босые ребята вытянулись перед ним по стойке «смирно», при этом один из них держал гитару «к ноге». «Чья это музыка» – указав пальцем на гитару, спросил Истомин. «Цфасмана, товарищ майор» – ответил находчивый гитарист. «Таак, трое суток ареста Цфасману. Сейчас же иди в караульное помещение, доложи и садись!»

Через день после того, как я сменился из караула, Истомин выстроил весь курс на плацу. «Лейтенант Цфасман, – скомандовал он, – три шага вперёд!» Никто не вышел.

«Ах так, – воскликнул майор, – всё равно я тебя в лицо узнаю, хуже будет! Ещё раз: лейтенант Цфасман, три шага вперёд!» И снова из строя никто не вышел. Но майор на этом не успокоился: «Смирно! Равнение направо!» И, заложив руку за спину, Истомин направился вдоль строя с правого фланга на левый, внимательно вглядываясь в наши лица.

«Плохо будет Ключеву, если майор его узнает, – подумал я; – впрочем, вряд ли Истомин успел запомнить более 100 курсантов за полтора месяца нашей учёбы». Между тем майор продолжал медленно идти вдоль строя, выбирая, как ему казалось, наиболее подозрительных курсантов. Так набралось человек десять. После повторного отбора осталось трое. Подойдя к одному из них, он приказал ему выйти из строя. А затем, ткнув в него пальцем, торжествующе воскликнул: «Ты

Цфасман!» – «Никак нет, товарищ майор, – бодро доложил офицер, я Фирсович» – и подал майору своё удостоверение. Истомин долго рассматривал документ и молвил: «Да, верно – Фирсович. Но учтите, и тут он перешёл на более высокий регистр, – я всё равно найду этого Цфасмана. Разойдись!».

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...

Вот и лето прошло. Всё куда-то умчалось.
Суею всё заполнилось, бдением и сном.
Лишь одно впечатление на сердце осталось –
Летней ночью в степи под небесным шатром.

Вот и лето прошло. И теперь я не знаю,
Это было иль не было, сон или быль.
То сомнение грызёт, то надежда шальная
Заколышется вдруг, как под ветром ковыль.

Вот и лето прошло. Тучи низко повисли.
Я стараюсь отвлечься, забыть о тебе.
За окном утомлённые падают листья.
Осень снова напомнила мне о себе.

БЕРЕЗОВЫЙ ЛИСТ

Единственный лист на берёзе повис.
Под ветром он пляшет, как в цирке артист.
От холода скрючившись жмётся к ветвям,
Как жмутся младенцы к своим матерям.

Он знал свои корни, свой род из ветвей,
имел много братьев, её сыновей.
Но ветер унёс их. Остался один
У белой берёзы единственный сын.

Листьев опавших шуршит хоровод,
Последнего сына берёзы зовёт.
Опавшей листвою покрыта земля.
Быть может, берёзовый лист – это я.

СТАРАЯ МЕЛОДИЯ

Слышится, слышится пение скрипки,
Чудится, чудится звук голосов.
Это не сон, это только улыбки,
Радость и грусть матерей и отцов.

«Брызги шампанского» пенятся снова,
Голосом Отса звучит баритон.
Дарит пластинка мне звуки былого.
Жизнь продолжается в вальсе-бостон.

Вот легендарная «Тум-балалайка»
Свой повторяет прекрасный припев.
Сердце поёт довоенную «Чайку»,
Чувством моим навсегда овладев.

«Чайка», я помню, летела над нами.
Фронт её пел, даже концлагеря.
В душу запала, как память о маме,
С песнею вместе состарился я.

Годы уходят, и новые песни
«Чайку» уже заменили давно.
Время меня уничтожило б. Если
Старых мелодий не помнил я, но...

Слышится, слышится пение скрипки,
Чудится, чудится звук голосов.
В старой пластинке играют улыбки,
Радость и грусть матерей и отцов.

ДО СВИДАНИЯ, ТАНЯ...

До свиданья, Таня, до свиданья!
Время след засыпало листвою;
Вспоминаю осень расставанья,
Домик у дороги кольцевой.

Задержалась у открытой двери,
Думала, что возвращу тебя.
Почему тогда я не поверил,
За тобой не кинулся, любя?

Мне б тогда обнять тебя за плечи,
Заглянуть тогда в твои глаза...
Ты прости меня за бессердечье
И за то, что слова не сказал.

До свиданья, Таня, до свиданья!
След исчез с осеннею листвою,
И остался как воспоминанье
Домик у дороги кольцевой.

* * *

Я вместе со своим народом
одним проклятьем заклеимён.

И вечно наша несвобода
нас тянет к Богу на поклон.

К местам нас тянется поклониться,
где защитит нас мезуза.
Нас встретят там родные лица
с библейской мудростью в глазах.

И где Всевышнего сжимали –
для нас всегда – открытый счёт
победам, радостям, печалям –
собрали нас в один народ.

Где за свободу нас бороться
зовёт великая земля.
Где из пустынного колодца
вода течёт едва в поля.

Где флаги по ветру колышат
Давида гордую звезду,
Где нам всегда приют и крышу,
и дружбу, и любовь дадут.

Там для меня – космополита
всегда есть верный адресок:
могила для меня открыта,
в Святой земле есть уголок.

**«В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ
ОТМЕНЯЕТСЯ!»**

Простые, горькие слова.
Артист со сценой не прощается.
Артист в кулису удаляется –
Знать – мизансцена такова.

Пусть зритель думает наивно,
Что с новой репликой войдёт,
Что им разгадан трюк наивный,
И с шуткой, якобы старинной,
Артист вернётся, подмигнёт.

И снова в зале потеплеет.
И снова все мы заодно.
И пусть детишки тихо млеют:
Иди, ползи Артист смелее:
Включи свой ключик заводной!

Слова финального куплета
Ты, как и встарь – от сердца вмажь,
Бросай в пространство. Только это
Твоя лебяжья песня спета –
А остальное всё – кураж!

* * *

Не лгите! Ложь вам не идёт!
Я правду вижу в вашем взоре.
Я не такой уж идиот,
Чтоб спутать Сердце с Разговором.

Словами любим мы грешить,
Лукавством чувства подгоняя.
И вас не буду я винить
В таких грехах! Они без края.

Переполняют ваш язык.
Он дорог мне, хоть бессердечен.
И я, увы, не безупречен.
И лезть за словом не привык...

Но то, что я хочу узнать,
Вы не решаетесь сказать!

ВОРЧЛИВЫЙ СОНЕТ

«Стареешь, Мать! Ворчишь всё чаще!
Меня коришь по пустякам...
Неужто сахар будет слаше,
Коль он расколот пополам?

Чего ж мытарить и мурыжить.
Зачем стучать по лбу перстом?
Ну, кто с тобой сумеет выжить,
С таким осиновым крестом?

Лишь я один, судьбе покорный,
Гоню свой невезучий чёлн.
И перепрыгивая волны,
К тебе опять стремится он...

К Тебе! К Тебе – душа родная!
Куда ж ещё? Других не знаю!

* * *

«Мы все прекрасны несказанно»

Б.Ахмадулина

«Мы все прекрасны несказанно...»
Хотел бы я сказать жене,
Но мне мешает непрестанно
Её брюзжанье. При луне,
При солнце. В ведро. В непогоду.
В конце или начале года.
И в день седьмого ноября
Она ворчит. Конечно, зря!
Я ль та мишень для раздраженья,
Хоть я не раздражаюсь им?
Или козёл я отпущенья?
Нет – я попрежнему любим!
И я люблю – хоть неустанно
Молчу – коль всё уже сказано!

* * *

«When forty winters
Shall besiege they brow...»

W. Shakespeare s. 2

Когда придут «сороковины»,
И углядит соперниц рой
В твоих кудрях две-три седины,
Ничто не сменит мой настрой.

С годами Опытность и Нежность
Мне всё дороже. С юных дней
Былой порыв и страсти резвость
Приелись... В загнанных коней

Любовь порой нас превращала...
И что же? Всё прошло? Ан нет.
Годами вожделенья жало
Живёт! Хоть скромн мой букет,

Но ты ему душевно рада.
И раз в неделю ждёт награда!

У ЗЕРКАЛА

«Look in they glass and tell
the fase thoy viewest»

W. Shakespeare s. 3

Вглядитесь в зеркало. Доверьтесь лишь ему!
В его пучине виртуальной
За тонкой плоскостью хрустальной
Таится неподвластное уму.

Его холодный мёртвый скальпель
Членит все Чувства на куски.
И вы всегда в плену тоски,
Как будто в непогоду в Альпах...

Лишь Интуиция и Чувство роковое
Увидеть могут Существо и Суть.
Чуть притушите свет (как перед аналогом)
И разбудите Радостность и Грусть.
И в глубине серебряного дива
Всплывёт Судьба. Строга и молчалива!

СОНЕТ О ПОЭТЕ

«Scorn not the sonett critic»

Wordsworth

Суровый Критик! Не брани сонета
За жёсткий метр и строгости манер.
И ты, мой Критик, возлюби Поэта,
Чей дух порою выше мер и вер.

И ты, мой друг, Поэта не чурайся.
Он искренне тебя, как свет, боготворит.
Но стих его, не вышивка на пальцах:
Огнём он выжжен и слезой омыт!

Поэт и сам собою недоволен.
Спроси любого (если он Поэт!).
Но он один, как дуб в заветном поле.
И вокруг него – ковыль. Иной опоры нет!

Цените же Поэта. Не шпыняйте.
А вдруг замолкнет. Молча вспоминайте!

ВЕРНОСТЬ

(рассказ)

*«Святки – праздничные церковные дни –
от Рождества до Крещения Христова»*

Эту правдивую, поистине Святочную, историю поведала мне Марта Гренцель, милая седенькая старушка, хозяйка самого крайнего дома на Ораниенбургерштрассе. Ну, той улицы, что вплотную упирается в лесное озеро. Её дом (точнее, домик) – низенькое, голландского стиля одноэтажное строение с типично вермееровскими переплетёнными окошками, почти без привычной русскому взгляду завалинки и милым, да и не таким уж маленьким садиком (корней в двадцать разных сортов яблонь, черешен и прочей садово-огородной мелочи). Рано овдовевшая фрау Марта пристёгивала к своей маленькой ренте небольшую мзду, получаемую за сдачу комнаты (фактически половины дома) всем желающим пожить на тихой и зелёной окраине большого города... Сдаваемая комната – по существу спальня – имела два окна, выходящих в сад, и, что было особенно удобно для гостей, отдельный вход с боковой стороны дома. Изнутри дома фрау Марта могла войти на сдаваемую территорию через вторую дверь, но это происходило редко и лишь в случае острой необходимости, да и то в отсутствие постояльцев. Лет десять-двенадцать тому назад эту комнату снял один молодой, но уже достаточно солидный (судя по дороговому экипажу) мужчина лет 30-35-ти. Осмотрев в

первый раз и «зало», и садик, и, с разрешения фрау Марты, весь домик, господин сам назначил цену, устроившую хозяйку во всех отношениях и достаточно высокую, и, главное, долговременную: сразу был внесён иждаток, причём наличными и без всяких расписок, на год вперёд! Господин уехал, не оставив адреса и не обозначив времени приезда...

«Нет, так нет». Домовладелица привела всё в жилое состояние, каждый день на минутку заглядывала в покои и убеждалась в отсутствии гостей. Наконец она перестала суетиться и лишь по мере надобности меняла цветы на столе и воду в умывальнике. Спустя неделю (или две?) под вечер к дому подъехал знакомый экипаж. Из окна кухни, что смотрела на проезжую дорогу, фрау Гренцель увидела молодого квартиранта, идущего к «своему» подъезду вместе со стройной невысокой и, судя по походке, молодой дамой, лица которой, однако, из-за плотной вуалетки, рассмотреть не удалось. Дверь в зал скрипнула дважды – открывшись и закрывшись.

В доме настала тишина... Утром, около восьми, опять подъехал экипаж. Шествие прошло в обратном направлении – и в доме вновь настала тишь... Зайдя в зал, фрау Гренцель, обнаружила лёгкий беспорядок, который обычно оставляют в гостинице уезжающие аккуратные гости. Но устранить было одним удовольствием заскучавшей без жильцов хозяйки, и опять в дом вошла тишина. На этот раз дня на три-четыре, не более... И так продолжалось долго. Никто из гостей не входил внутрь и не вызывал хозяйку: постояльцы жили совершенно автономно, никого не беспокоя... После их ухода хозяйка проводила генеральную уборку

более для собственного удовлетворения, чем по необходимости: смена постельного белья, свечей, воды – вот и всё, что от неё и требовалось. И такой распорядок продолжался более десяти лет! Ни разговаривать, ни видеть гостей ей так и не пришлось. Лишь зимой на дорожке, ведущей от проезжей дороги к боковому входу, на снегу виднелись две пунктирные строчки: следков узеньких дамских туфелек и широких мужских башмаков. Накануне эти следы направлялись к дому; за ночь их присыпала снежная крупка, а утром они направлялись обратно – к проезжей дороге и исчезали около следов экипажных колёс. Как и всякой женщине, к тому же одинокой и не очень общительной, фрау Гренцель и хотелось, и было неловко пытаться установить, что за дама приезжала в её дом, но строгое указание квартиросъёмщика её останавливало. Из-за закрытой внутренней двери (к тому же занавешенной с обеих сторон тяжёлыми портьерами) не слышно было даже голосов. Правда, в последние годы иногда проступали звуки кашля – лёгкого, но порой затягивающегося. Кашля не мужского: фрау Марта помнила кашель курильщика, которым расстраивал её муж, который в конце-концов и прикончил его бесконечное курение. Но за дверной портьерой звучал лёгкий, более звонкий звук, не оставлявший, увы, никакой надежды ни доктору, ни самой кашляющей...

В конце весны прошлого года в приездах молодой пары наступили долгие перерывы: в месяц, а то и в два. Осенью фрау Марта получила

короткое уведомление от неизвестной ей адвокатской конторы, в котором сообщалось, что, согласно завещанию (называлось имя молодого господина) все последующие годы (так было напечатано на бланке конторы) фрау Гренцель будет получать ежегодную плату за аренду снимаемого раннее помещения в её доме на прежних, согласованных условиях с добавлением инфляционных добавок. В случае отказа просят сообщить немедленно по указанному адресу... Фрау Гренцель загрустила: что-то, значит, действительно случилось с её молодой парой... Но предложенная и всегда необходимая материальная поддержка её устроила и даже успокоила. Прошла осень – облетели листья, выпал первый снег. Зима в том году была крепкая, но хозяйка аккуратно следила за теплом. В сдаваемом ею зале (кому сдаваемом?) было попрежнему уютно, на столе стояли свечи и зимние цветы, вода регулярно обновлялась...

Прошло Рождество. Началась Святочная неделя. Однажды, под вечер, уже затемно, задремавшая фрау Гренцель проснулась от дорожного шума. Как будто к дому подъехал экипаж и, судя по негромким голосам, традиционным маршрутом в дом прошли один или, скорее, как и раннее, два человека: «Её постояльцы!». Вот скрипнула, как всегда, входная дверь. Наступила привычная, но более приятная тишина, и фрау Марта быстро и спокойно заснула. Зайдя наутро, почти машинально, в гостевую комнату, фрау Гренцель с радостью и удивлением обнаружила, что комната не пустовала: почти всю ночь горели свечи, и ей придётся, наконец-то, наводить традиционный порядок! Выйдя из боковой (гостевой) двери, хозяйка обнаружила на боковой дорожке те же следы женских и мужских ног: к дому – почти занесённые снегом – вчерашние, от дома – свежие, отходящие к дороге. Машинально пройдя по ним, женщина дошла до проезжей части. Следы как-то незаметно исчезли у самой кромки, но где же следы колёс экипажа – обычно крупные, пропечатанные в снегу? Через два-три дня вся процедура прихода-ухода повторилась – и опять: никаких следов экипажных колёс! Полная луна и начинающийся рассвет чётко освещали и дорожку со следами и шоссе безо всяких следов экипажа...

В феврале, в полнолуние, всё повторилось: и гостевые следы, и никаких экипажных. Приметливая хозяйка быстро подметила эту особенность: постояльцы появлялись (а уж в этом фрау Марта была абсолютно уверена!) ровно в полнолуние и покидали её дом с молодой луной.

Я ранее не был на этой окраине города. Случайно заехав сюда, я увидел тот же домик, ту же боковую дорожку к боковой двери, тот же садик. Я постучал в окно. Из главной двери выглянула, и то не сразу, немолодая женщина, чем-то напоминающая фрау Гренцель. На мой вопрос она грустно сообщила, что старая хозяйка умерла больше года назад. Что-то дёрнуло меня спросить: «Не сдаётся ли у вас на лето какое-либо жильё?» Странно внимательно посмотрев на меня, новая (как я и понял ранее) хозяйка ответила, что у неё уже всё сдано до конца года, но если господин желает, она может порекомендовать соседей... Я поблагодарил и ...уехал. Навсегда...

АРИТМИЯ

Время вытекает из жилы
капельницей наоборот.
Стрелки выстригают из жизни
так бездушно за годом год.

Хватит! Подушкой прихлопну
тиканье упорных годов.
Мысли разлетятся, как хлопья,
жизнью в жилах забьётся кровь.

Обе руки прижму я к лицу:
пусть хоть раз мне поможет Бог.
Переключите капельницу!
Нет, всё также течёт песок...

11 – 12. 09.03

ДЕПРЕССИЯ

Опустело... В душе опустело.
Нет желаний. Безмолвная темь.
Наползает косматая тень,
и безвольно ненужное тело.

Ничего для души не осталось.
Пустота, темнота и... конец.
Лишь усталость. Такая усталость,
будто кровь превратилась в свинец.

08.06. 2002

ГДЕ ТО ПОСЛАНИЕ?

Послания жду, не зная, от кого.
Я жду посланья.
Не заглушить желанья моего
бесплодными годами ожидания.

Вот-вот придёт, впорхнёт через окно,
мелькнёт в просвете...
Ужели не написано оно
никем и никогда на целом свете?!

А вдруг разломан прошлого сургуч,
конверт разорван,
иль голубь не пробился между туч,
похищено посланье глупым вором,

и знаки, предназначенные мне,
уйдут в незнание?
Но всё же в шуме дней и в тишине
ночей,
всю жизнь я буду ждать посланья!

25–28.02.1998

СЧЁТ ВРЕМЕНИ

На счётах, где костяшки — наши дни,
отсчёлкивает Время мне недели.
Разрядом выше — месяцы одни,
а там уже и годы полетели —
щёлк-щёлк, и равнодушный счетовод
предъявит счёт уже за целый год,
к тому ж ещё и в веке не моём,
и даже не в моём тысячелетье.

Щёлчок! И сквозь решётчатый проём
вся жизнь моя порхнёт, как междометье.

13.02.2003

ЗЕМНЫЕ СНЫ

Прекрасны, легки и нежны,
возвышенны, просветлены...

И ночь застегнула свой плащ
алмазной застёжкой луны.

Здоровы, крепки и верны,
спокойны, чисты и вольны...

И ночь застегнула свой плащ
янтарной застёжкой луны.

Тревожны и воспалены,
бессвязны, тяжки и больны...

И ночь застегнула свой плащ
латунной застёжкой луны.

Латунно,

янтарно,

алмазно —

как сны, непонятно и разно
свечение бессонной луны.

10.02.2004

СЕЗОНЫ ЖИЗНИ

Ребячее, чистое, нежное,
невинное-снежное
душа вспоминает весною.
Когда это было со мною?

Молодо, сильно и жарко,
цветасто и ярко
томление летнего зноя.
Когда это было со мною?

Зрело, целебно и хлебно,
осенне-волшебное
колышет спокойной волною.
Но будет ли это со мною?

Тяжкое, злобно свистящее,
скрипит леденящее
старухой – холодной зимою.
Ужель это будет со мною?

1983 ?

СИРЕНЕВОЕ СНАДОБЬЕ

К утомлённому лбу
приложу эту ветку сирени –
неуёмное множество
маленьких чётких цветков.
Их прохладная плоть
приглушит неизбытность мигрени
поцелуями быстрыми
крепких своих лепестков.
И вдохну аромат
этой, влагой наполненной, пены –
аромат, настоявшийся
в прошлом садов и всков,
успокою глаза
этим ритмом живых повторений.
И уйдёт непроглядная
боль из усталых висков.

31.08. 2000

ДОПЛЫВИ ДО СУЛАВЕСИ!

Наклонились мачты косо –
мчится парусник мечты.
Я мечтаю. Я – подросток,
ухожу от суеты.

Мили, длинные для лага,
пролетаю я шутя,
к островам архипелага
на крыле мечты летя.

Словно стрелы, мачты остро
целят в Тихий океан,
Сулавеси – странный остров
проступает сквозь туман.

Водопады в джунглях громки,
два вулкана смотрят ввысь.
Здесь от Азии обломки
с австралийскими слились...

Города, года и веси –
всё осталось позади.
Не доплыть до Сулавеси.
Сердце сердится в груди.

В миг последней смертной рези
я услышу с высоты:
«Доплыви до Сулавеси –
вулканической мечты!»

Январь 2004

ПРЕДЪЯНВАРСКОЕ

Картинки зимнего пейзажа
Настырно время теребят,
Регламент утопив в пассажах
Второй декады декабря.

Воспоминаньями не тешат:
Сумбур не возникает вдруг, –
Помалу собираем вещи
Перед поездкой в Мекленбург.

В плену рождественской недели,
Застрав под новогодний гон,
С натяжкой рвёмся в беспределы
За свой последний Рубикон.

На посошок – и в «путь-дорожку», –
Решает снова персонаж:
А там, как знать, не понарошку
Затянут все «Отче наш».

Теперь уже не за горами
Прощальный тост и мой «привет»,
Не важно, как там будет с нами,
Ведь главное, что здесь нас нет.

На месте отстоим обедню
По сновиденьям наяву.
Всё перемелется.
А сплетню
Я как-нибудь переживу.

WALSER IM OKTOBER

На всех никак не угодишь:
Кому-то нравится быть пошлым,
Кого-то ублажает тишь,
А кто-то тянется за прошлым.

Вокруг бурлящий океан
Стоящих в очередь за счастьем;
Не каждый час судьбой нам дан, –
Ко времени мы все причастны.

Странички жизни пролистав,
Воспоминания не лечат.
В осеннем мареве листва
Кружит и падает на плечи.

Поёт за окнами Берлин
Порою в такт, порой – нелепо,
Что всё простительно. Один
Я окунаюсь в бабье лето.

Лжелатриотом тут не стал,
Космополитом вроде не был,
Наверно, попросту устал
Под озорным берлинским небом.

Здесь, далеко от дорогих
Людей, бессонными ночами
Курю и думаю о них,
И мысленно опять я с вами.

Несётся дней водоворот
В нём уплывает наше кредо, –
Всё перемелется, пройдёт;
Как знать, быть может, я приеду.

KEINE PROBLEME

Юре Нессису

Когда вокруг одна сплошная лажа,
Быт куксится привычным ремеслом.
Ну, хоть убей, но ведь никто не скажет,
Зачем сюда нас нафиг занесло...

На поворотах застревая глухо,
Попутчиков не попрекаем в том,
Что смерть теперь не грозная старуха,
А шаркает, как бывший управдом.

Всё это ерунда, и с боку бантик, –
Как приспособишь – сразу развезёт;
Без всяких одноразовых гарантий
Тотчас прольётся пеною в песок.

Исподтишка в обход крадётся старость
Последней панацеей от сует
В надежде, что шадящая усталость
Скорей сведёт прошедшее на нет.

Живём отнюдь не по чужой указке,
Всем завихрениям наперекор –
Опять в седле и, несмотря на встряски,
Соседей-немцев перепьём на спор.

Мы все ТАМ будем, но пока не к спеху.
А если смерть вконец закроет рот,
Звон наших струн родным манящим эхом,
Как гены, к нашим внукам перейдёт.

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА

Оле

Никогда не дарил я тебе орхидей
И не баловал очень заботой своей.
Не с того ли в палитре оставшихся дней
Этих красок огрехи мне резче видней...

Время тянет стремглав за прощальный кордон.
Не кори, когда к крайней черте подойдём.
Сохраню луч улыбки во взгляде твоём.
Только жаль, что так мало мы были вдвоём.

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Пока не начались дожди,
Позволить себе немного расслабиться
В промежутках между визитами
Приятной молодой дамы:
Побаловать себя: яблочным пудингом,
Непременным кусочком бри и ломтиком свежей айвы,
Запивая эту вкуснятину чёрным чаем с лимоном,
Добавив ложечку коньяка
Из хрустального стакана
С фамильным серебряным, с позолотой, подстаканником.

* * *

Поднакопилось всяческой (по большому счёту ненужной)
Бумажной круговерти:
исоплаченные счета, просроченные проспекты, вырезки из газет,
справочные материалы, финансово-прагматическая переписка,
лежурные фотографии, начатые наброски и т.д.
Пересортировывать – лень, выбросить скопом – накладно;
Поневоле приходится наводить косметический порядок.

Теперь под приглушённые мягкие звуки
Старого джаза
Усесться за круглый журнальный столик,
Чтобы за пару часов успеть написать
Несколько обязательных, а также родственных писем,
Приготовив их к утренней отправке.

Пока ещё не сильный ветер с косыми брызгами, –
Надвинуть кожаную кепку и, завернувшись в плащ,
Тут, неподалёку от дома (то бишь – теперешнего места проживания),
Перейти большой Шпреевский мост и налево спуститься в Трептов-парк:
В холодные будни, после немногих жарких деньков,
Здесь мало народу.
На скамейке у самой воды,
Вытянув свободно ноги, бросаю кусочки хлеба
Подплывшим уткам и лебедям.
Из моей дымящейся трубки ароматные кольца
От датского табака cherry ambrosia
Уносятся вниз по реке.

Пока не совсем окутало туманом,
Редкие солнечные блики
Задевают мимоходом по небритому подбородку,
А рукам без перчаток уютно в тёплых карманах.

Пока листва в оранжевом кружится,
Пока ещё есть время, –
Успеть пройти по малому кругу знакомых;
Не спеша, домовито, отдохнуть у дочери;
Послать туда племяннику факс с перечнем предлагаемых услуг;
Наметить рождественские сувениры внукам;
Закупить кое-чего к завтрашнему визиту...
...Впрочем – уже 13 октября – и с утра идёт снег...

* * *

Не будем о грустном в сегодняшний вечер,
Уж лучше отвлечься о чём-то другом.
Ведь, может быть, это последняя встреча, –
И, кто его знает, что будет потом...

БЛЮЗ ДЛЯ ДВОИХ

И дал им Бог утешиться друг другом

И искупить рок смешанным дыханием

И распахнуться алтарём в постели

И наготовою радостно упиться

И к ритмам страсти приурочить день

И исступлённо снова обмануться.

ЖАБА

В последнее время Ольга чувствует себя измотанной, появилась зависимость от снотворного. Сказываются неприятности по работе. Она заведует маленькой сберкассой на окраине города. Дом старый под снос. Обещают новое помещение в сооружающейся поблизости высотке. Но строительство заморожено уже второй год. Перестройка. Нет денег.

В её подчинении несколько женщин. Сближает их схожесть судеб: неустроенность по жизни, жалкая зарплата, граничащая с нищетой, одни и те же заботы: где что достать подешевле, как свести концы с концами. И личное счастье, так или иначе, обошло всех их стороной. Ольга – в свои тридцать семь замужем вовсе не была, не случилось: оказалась невестребованной.

Лишь богачка Лариска в коллективе как паршивая овца. Совсем зазналась стерва, портит всем кровь, делает жизнь коллектива невыносимой. Она самая молодая: нет ещё и тридцати. В сберкассе работает давно, лет десять. Пришла сразу после окончания школы, тихонькая, такая невзрачная и долгое время была равной среди равных.

– Надо избавиться от мерзавки... Но как? – негодовала Ольга, чувствуя своё бессилие. – К ней ведь не придерёшься, уволить не за что: работу свою знает, никогда не опаздывает... Придётся сделать так, как сказала знахарка: сходить в церковь, купить свечку отдать какой-нибудь бабке, может быть самому батюшке, с записочкой, чтобы помолился за упокой усопшей Ларисы. Надобно навести на мерзавку порчу. Пусть отправляется на тот свет... Подлюга.

Накопившаяся против сотрудницы ненависть выплёскивалась наружу, но легче не становилось. Напротив, удушливой волной накатывались угрызения совести.

– Бог накажет... бог накажет, – терзалась Ольга. – Нельзя допускать такое даже в мыслях... Да какое у меня право распоряжаться чужой жизнью.

Но тут же вспоминались ларискины выходки, её страсть унижать сотрудниц, выставляя напоказ собственное благосостояние и злобное раздражение вскипало вновь: «Знает, садистка, куда бить. Нашупала самую больную точку... Разодевается. Хвастает. Во время отпуска с мужем в Италии путешествовала. В море купалась... За какие такие заслуги ей богатство и счастье привалило? А мы?.. Ей всё, а нам ничего?.. Это же несправедливо!»

Ежедневно, к началу рабочего дня, Лариску подвозит к сберкассе личный шофёр мужа. Те сотрудницы, что уже на рабочих местах, любопытно тянут шен в сторону окон. Лариска небрежно вываливается из

иномарки на тротуар. Невзначай косится на окна, явно догадывается, что находится под пристальным наблюдением, наслаждается производимым впечатлением. Непринуждённо, величаво, с высоко задранной головой поднимается на крыльцо, подметая разбитые каменные ступени лапами шикарной расклёшенной шубы: мех какого-то неопознанного животного, возможно обезьяны. Как королева ступила она сегодня утром на порог, разбурманенная, окутанная клубами холодного воздуха, ворвавшимися за ней в открытую дверь. Помещение наполнилось морозной свежестью и опьяняющим ароматом французских духов. Все разом отвернулись, будто б вовсе и не заметили этого явления. – Здравсьте. – высокомерно произнесла она певучим голосом, на что в ответ получила молниеносно брошенные в её сторону сухие кивки. Она скинула шубу. И задержалась, преднамеренно замешкалась на площадке у двери. Отсюда она хорошо видна всем. Опять на ней новая кофта: вызывающе ярко-красная, с глубоким вырезом, и новые серьги до плеч, мерцающие на утреннем солнце крупными рубинами. На лице ехидство и пренебрежение... Натё-ка, смотрите, получайте!.. Чтò?.. Завидки берут?.. Слюнки потекли? – кричало без слов всё её существо, глаза сверкали злобным высокомерием. – Это вам за вчерашнее!.. Понатыкали мне ржавых иголок в сидение стула!.. Подруги называется!.. Террариум для змей... Чёрной магией извести задумали?.. А я, смотрите-ка, процветаю всем назло. И вам до меня. как до неба!..

Она нервировала аудиторию и вожаденно наблюдала за лицами женщин, пытающихся не смотреть на неё. Кому, как не ей знать: тряпки – сильнейшая женская страсть. И совсем не трудно догадаться: за равнодушным притворством скрываются бурные чувства недоброжелательниц, готовых разорвать её на куски. Какое же это блаженство – вызывать у них зависть! О, какую эйфорию она испытывает!.. Всегда её топтала и унижала жизнь, а теперь она может наслаждаться унижением обидчиков. Новая кофта, эта кроваво-красная тряпка подобна приманке матадора на испанской корриде.

Ольга, сидевшая за столом, на мгновение приподняла глаза, встрети-лась с уничтожающим взглядом и будто ощутила болезненный укол острого кинжала. Бешенство охватило её, бешенство загнанного быка. Её травят... Губы задрожали. Захотелось броситься и придушить эту провокаторшу. Еле сдержалась. Ненависть клокотала в душе весь день, мешая заниматься делом. А Лариска то и дело под разными предложениями вскакивала с рабочего места, манерно скользила между столами в изящных сапогах на высоченных шпильках, вихляя бёдрами, обтянутыми элеган-тной юбкой с разрезом выше колен; охота ещё раз позлить завистниц.

– Дура, – размышляла Ольга про себя, незаметно повторяя глазами траектория её скольжения. Вырядилась, как в театр... Научилась бы сначала на каблуках ходить. Ходит в раскоряку, задницу выкручивает...

Отъелась... Перед кем стараешься?.. Кому здесь нужна твоя сексуальность? Тут ведь только бабы, а за стеклом пенсию ожидают одни старухи... А ведь вправду хороша, дрянь... К лицу ей эга мохеровая кофта... Мерзавка...Помнится, когда мужа похоронила, на старуху была похожа, еле на ногах держалась от истощения. На голове – пакля, слипшиеся сосульки, сорочье гнездо. Ну, Баба-Яга, да и только!.. А теперь... Что за шампунь?..

Волосы рассыпаются, как шёлк, золотом отливают... А морду свою наглуую чем мажет?.. Побелела. Порозовела. Наверняка заграничными кремами, что по пятьдесят долларов за маленькую баночку... Может, в сливках купается?.. И как она ухитрилась такого мужика отхватить?.. Ведь и года не прошло, как потеряла своего мучителя...Хоть бы околела... Неумолимо-навязчивое желание Ларискиной смерти вытесняло все былые сомнения: «Завтра же... завтра... свечку за упокой... Но почему же эта зараза сама не уйдёт?.. Зачем ей, спрашивается, наша нишенская зарплата? Этих денег едва хватит, чтобы сходить разок к косметичке да в модный парикмахерский салон. А на сауну уж, пожалуй, и не останется. Проваливала бы отсюда к чёртовой матери».

Действительно, для всех было загадкой, почему Лариска держится за работу, ей же деньги с некоторых пор не нужны. Но у неё ведь не спросишь... С ней вообще перестали разговаривать, только в случае деловой необходимости. Терялись в догадках. Всё же невзначай брошенные Лариской слова удавалось собрать, смонтировать, обдумать и дать некоторое объяснение.

Возможно, без работы ей будет дома скучно. Супруг допоздна на службе, ребёнок в приватном детском саду, вечерами он с няней. Дважды в неделю приходит домработница: вылизывает квартиру, готовит обед на три дня... А что делать Лариске?.. Или может не хочет терять общество, в котором самоутверждается за счёт других?.. Кого тогда подавлять, дразнить, издеваться?.. Такое действие доставляет этой гадюке неслыханное удовольствие, доводит до экстаза. Несомненно, ей нужна публика...

О, если вспомнить былые времена!.. Какой замухрышкой много лет назад была Лариска: неухоженная, в вытянутой трикотажной кофте с протёртыми локтями. Как все ей сострадали, пытались помочь. Муж наркоман. Уже на следующий день после ларискиной зарплаты в доме не было ни копейки, из мебели не осталось ничего. Впалку спали все втроем на надувном матрасе, ели на последней оставшейся табуретке. Лариска постоянно приходила на работу опухшей от слёз, с синяками от побоев: муж подозревал её в сокрытии денег и едва не проломил череп этой облупившейся табуреткой, которую никто не соглашался купить. Больше месяца ходила она с повязкой. Опасались, как бы муж и вовсе не прибил её. Словом, типичная история для семьи, где муж пьяница или

наркоман. Случались и прогулы. Ольга прощала Лариске и это, на всё закрывала глаза. Выручали сотрудницы: поочерёдно, каждая понемногу, сидели на приёме коммунальных платежей, выполняя ларискины обязанности. Все понимали; тяжело ей, бедной. Голодной была, как волк. Каждый что-то приносил к совместному чаепитию, и в обеденный перерыв подкармливали несчастную. Она жадно заглатывала еду кусками, почти не пережёвывая. Догадывались, чаепитие зачастую было единственным, что перепадало ей за весь день.

А сынишка, Алёшка... Не ребёнок, а жалкое существо: измождённый, с непрекращающимися лихорадками на губах. Мальчонка то и дело температурил. Лариска не таскала больного в детский сад и частенько являлась на работу вместе с ним. Он никому не мешал: тихо сидел весь день в уголке за столом и рисовал. Казалось, силёнок нет, чтобы бегать, играть, шалить, как это делают нормальные дети. Все привыкли к этому безобидному ребёнку, полюбили его. Аппетит у Алёшки совсем отсутствовал: от всего, кроме конфет, отказывался. Общими силами приодели парнишку, выбросив на помойку старые лохмотья. Пожалуй, Лариска была самой неудачливой из всех.

И вот теперь... Ужель эта та самая Лариска!?!.. Вот что могут дать женщине деньги и соответствующий уход!.. Но главное в другом! Деньги испортили до неузнаваемости её нрав!.. Эта тихоня обернулась настоящей стервой, интриганкой, кому хочешь голову откусит. Как же быстро позабыла, сколько хорошего сделали для неё сотрудницы в чёрные дни. Позабыла, как опекали, как поддерживали... Неблагодарная!.. Сука да и только!..

Историю современной Золушки, женщины то и дело смаковали.

— Представляете, как наша жизнь зависит от случайностей, — негодовала одна. — Не будь этой злополучной табуретки, которой усопший огрел её да чуть на тот свет не отправил, и всё было бы по-прежнему.

Женщины повздыхали: «Что уж случилось, то случилось. Историю, как говорится, не перепишешь».

А табуретка, вернее стечение случайных обстоятельств, действительно в корне изменили жизнь Лариски. В тот роковой вечер к соседям по лестничной площадке собирались гости на вечеринку. Не хватало стульев. Побежали по квартирам. Одних дома не оказалось. Сунулись к Лариске. А какие у неё стулья? Ещё не купила. После смерти мужа столько дыр, все сразу не заткнёшь. Словом, стульев нет, есть одна табуретка. Изрядно подвыпивший сосед уже осмотрел пустую квартиру и решил, что табуретка хоть и одна, но тоже пригодится. Заодно он погасил к застолью и Лариску. Она идти не хотела, упиралась. С соседями не контактила, стеснялась скандалов с мужем. Вопли, конечно же, были слышны по всем этажам хрущобы.

— Пойдём, пойдём, винца выпьешь, развеселишься, — настаивал со-

сед.

Лариска села за стол поближе к двери, озиралась на незнакомых людей и пыталась улучшить минутку, чтобы незаметно ускользнуть. Но тут явился опоздавший гость. Пришлось потесниться на лавке, которую устроили из табуретки, стула и положенной на них длинной доски. Лариска подвинулась и оказалась заблокированной усевшимся рядом гостем. Теперь не сбежишь.

Этот опоздавший гость и стал её судьбой.

— Вот тебе и табуретка. — продолжали женщины обсуждение.

— Впрочем, я всегда подозревала, что Лариска вовсе не та, за которую себя выдаёт, — вступилась ещё одна сотрудница. — Знала, что она себя ещё покажет. Так оно и получилось...

— Ишь какой жирный кусок отхватила!.. Хищница...

И только самая пожилая сказала: «Пусть хоть одна из нас будет счастлива. Слава богу сошлась с хорошим интеллигентным человеком. Сына ей поможет растить».

— Да какой же он интеллигентный, — возразила первая. — Разве интеллигент взял бы Лариску в жёны? Он простой мужик, шоферюга, рожа кирпича просит. Но хваткий, башковитый, и руки откуда надо растут. Раскрутился. Фирму по ремонту автомобилей организовал. Слышала, его люди машины из Германии гонят. Одни сразу продают, другие на запчасти разбирают. Вот деньги и потекли рекой...

— А квартира-го у них такая! — закатив глаза, перехватила инициативу следующая, — Семикомнатная, переделанная из двух соседних в одну: дверь прорубили. В каменном доме, в самом центре города. Будто б даже кремль из окон немного виден. Евроремонт сделали дорожный. Посмотреть бы, что это такое... У меня знакомых среди новых русских нету.

Ольга прислушивалась, нервничала, но в пересудах и выходках против Лариски участия не принимала, чтобы не уронить авторитета заведующей. Мучительно переживала происходящее, скрываясь от всех. Сдержанность порой изливалась в слёзных вспышках гнева, рыданиях и причитаниях: «Это же несправедливо... Почему одним всё, а другим ничего?»

В её отношении к Лариске, кроме страстной ненависти, присутствовало что-то ещё не до конца осознанное: будто б в чём-то виновата. Она избегала думать об этом. Ненависть владела ею куда более всепоглощающе, чем загнанное глубоко в подполье души чувство какого-то греха. Изнуряющая борьба с самой собой казалась беспросветной. Наконец, Ольга решилась.

В одно из воскресений отправилась в церковь. Накануне продала золотое колечко, оставшееся от покойной матери: денег на оплату молитвы за упокоение не было. Робко вошла, перекрестилась, купила у

входа свечку. Хотела подойти к бабушке с просьбой, да не осмелилась. Помялась, потопталась, встала недалеко от стенки, крепко зажав в руке приготовленные деньги. Неяркий свет от трепещущего пламени свечей, от зажжённых перед образами лампад таял в глубине церковного пространства, наполненного по углам тенями и таинственным полумраком. На потускневшей позолоте икон мерцали лёгкие отблески. И тишина... Покой... Запел хор: что-то возвышенное, хрупкое, летящее ввысь под купол. Ольгу охватило необъяснимое чувство.

Казалось, Бог, как высшее Благо, как сама Доброта и Любовь пронизывает всю её сущность. — Боже,.. защити,.. я пришла к Тебе за справедливостью, — едва слышно произнесла она. И запнулась... Постояла, озираясь по сторонам, всматриваясь в сосредоточенные лица, о чём-то просящих Господа? О чём?

— Боже, прости, прости... Как я посмела? — чуть слышно произнесла она. О чём она пришла просить бога?.. О чём?.. Вдруг на мгновение представился перед глазами гроб. В нём мертвенно бледная, бездыханная Лариска. Ольга содрогнулась, подалась назад. Охватило желание броситься вон без оглядки... — Боже... прости... Как я посмела? — шептала она, пробираясь сквозь толпу к выходу. — О таком злодеянии можно просить только у дьявола.

У подсвечников на несколько мгновений задержалась, дрожащими руками зажгла поминальную свечу матери и выскочила на мороз.

Шла домой, оставляя следы на дороге, припорошенной чистым недавно выпавшим снегом. То, что раньше до конца не осознавала, теперь обозначилось конкретной мыслью: «Зависть... Чёрная жаба. Здесь в груди... мучит, теснит... мешает дышать... Это же зависть. Пора наконец признаться самой себе: все, как одна, завидуют Лариске... И она, Ольга, со всеми заодно. А что остаётся делать Лариске?.. Защищаться от жабы... И она отбивается, как может».

В памяти промелькнули былые события. Вспомнилось, как злорадствовала, когда сотрудницы в спину Лариске заклинание на беду нащёптывали. В испуге оглянулась бедняга: наверняка заметила... И как подкралась сзади, да волос с затылка вырвали для наговора на лишения и болезнь. Вся съёжилась, насторожилась... Было... было, что вспомнить...

От порывов встречного ветра Ольга на ходу прятала лицо за приподнятый воротник. Щёки горели. Не от мороза.

На следующий день пересилила себя, подошла к Лариске и спросила: «А как там Алёшка-то? Что ж ты о нём никогда не расскажешь?»

Лариска опешила, изменилась в лице, сперва ничего сказать не могла. Потом собрала с мыслями: «Болел он. Целых две недели с няней дома отсидел. Врачи говорят, иммунная система подводит — раннее детство тяжёлым было».

– Выходит, богатые тоже плачут? – грустно улыбнулась Ольга.

В смущении обе помолчали.

– Какая у тебя сумка великолепная... Это натуральная кожа? – спросила Ольга и коснулась ладонью лаковой поверхности.

Волнение от решительного шага постепенно исчезло, почувствовала, в груди отпустило, дышать стало легче.

В обед все собрались за столом, вскипятили чай. Лариса протянула Ольге пакет с пирожками:

– Здесь с рисом и с капустой, – сказала она. – Мы вчера с Оксаной целую миску напекли. Оксана – девушка, которая мне по хозяйству помогает. Самые вкусные получились с повидлом. Жаль не прихватила... Я ж не знала...

Женщины, пьющие чай, как бы невзначай, прислушивались.

– Оль, пойдём после работы ко мне, – вдруг оживилась Лариска, – пойдёте все ко мне, – громко произнесла она. И даже привстала.

Сотрудницы повернули к ней лица и в замешательстве молчали. Лариска вдруг обмякла у всех на глазах, будто раскрутилась внутри неё до предела натянутая пружина. Она опустилась на стул и мягко, с улыбкой повторила:

– Пойдёмте... Пирожков на всех хватит...

ПЕРВАЯ ПЯТЁРКА

Глава из повести «Сёстры»

Когда в сорок шестом году в семье родились близнецы, это расстроило Михаила Осиповича, их отца. Трудное послевоенное время и вдруг – две девочки. Как все мужчины, он мечтал о сыне. Жена его, Шарлотта Максовна, или Лётик, как ласково называл он её, напротив, была рада. Рада тому, что благополучно разрешилась от бремени, поскольку беременность её протекала тяжело. И хотя рождение двух малюток её вначале испугало: «Как же она справится?», страх быстро прошёл и на смену ему пришла всепоглощающая материнская любовь к двум одинаковым личикам. К тому же она быстро поняла, что уход за двумя не очень отличается от ухода за одной. Нужно просто всё делать рационально и дисциплинированно. На письменном столе аккуратными стопочками возвышались горки пелёнок и подгузников, выкроенных из старых простыней, которые, убывая в течение дня, к вечеру восстанавливали свою высоту. «Девочки – вот и хорошо, вырастим», – говорила она мужу. После всего пережитого всё, кроме войны, казалось таким несложным и обнадеживающим. Вся семья – цела. А ведь первые полтора года, находясь в эвакуации в Джамбуле со старшей дочерью Риммой, она ничего не знала о Мише, мобилизованном в первый же день войны. Слава Богу! – все живы, вернулись домой в свою, чудом уцелевшую квартиру с сентиментальным абажуром над столом и милыми сохранившимися безделушками.

Тринадцатилетняя Римма испытывала досаду от рождения сестёр. Во-первых, в доме стало просто невыносимо находиться. Стоило одной из них заплакать – ей тут же вторила другая. Письменный стол, собственность Риммы, был отдан также им. Мама, прежде красивая и подтянутая, после родов сильно располневшая и не всегда опрятная, целыми днями занималась только ими, «сюсюкала» и напоминала ей наседку. И, вообще, как родителям не стыдно в таком возрасте заниматься подобными глупостями? Обоим под сорок, а они детей рожают. Она стыдилась матери, когда та ходила беременной, сторонилась её, перестала звать к себе подруг, и в школе никто не догадывался о том, что у них ожидается прибавление в семье. С ревностью отнесшаяся к рождению сестёр, она отказывала матери в помощи по дому, отговариваясь тем, что у неё – «школа». Училась она на «отлично», и родители не проявляли излишнюю требовательность, чувствуя, что Римма и так обделена вниманием.

От Михаила Осиповича помощи также было немного, так как с утра до вечера он трудился хирургом в одной из районных поликлиник. Ночами же часто дежурил в больнице или на «скорой помощи». Таким образом,

все семейные тяготы достались Шарлотте Максовне, маленькой черноглазой женщине, с лёгким налётом изящества и аристократизма, несмотря на полноту.

Жили они в коммунальной квартире бельэтажа по улице Стрелецкой, в двух больших комнатах с лепными потолками и изразцовой печью. Квартира эта некогда принадлежала известному киевскому адвокату, отцу Шарлотты Максовны, который не без боли в душе согласился на брак единственной дочери с бедным студентом-медиком, подрабатывавшим в их доме дворником. Что поделаешь? Любовь... Но это было давно. Теперь же целыми днями Шарлотта Максовна бегала из комнат в кухню, расположенную в глубине квартиры, подальше от бывших господских комнат и поближе к «чёрному» ходу, который вёл в некогда прелестный зелёный дворик, отгороженный высокой каменной стеной от Софийского Собора. Покормив и умыв малышек, она вывозила купленную по случаю соломенную коляску во двор, превратившийся сейчас в скопище мусора, где оставляла детей под единственным неказистым деревцем. Стирая пелёнки или готовя обед в обществе соседок, она приглядывала из окна за дочерьми, которые спали, вдыхая мусорный аромат. Ничто не могло потревожить их сон: ни жужжание мух, ни грохот кастрюль, ни крики, иногда доносившиеся из окон многоквартирного дома, построенного ещё в девятнадцатом веке.

Восьмидесятилетняя соседка, Мария Васильевна, с накрученными на голове буклями, хозяйка такой же квартиры этажом выше, но после революции переселённая в одну из комнат бельэтажа, всю войну провела в оккупации и сохранила для Шарлотты Максовны, которую знала и любила с рождения, почти всю мебель и довоенные вещи.

– Лёточка, детка! – говорила она, когда они бывали на кухне вдвоём. – Кто бы мог подумать, что Вы так приспособитесь к этой власти... – Заслышав приближающиеся шаги кого-либо из соседей, она продолжала. – А Вы знаете, дорогая! Ведь я танцевала в Собрании на балу с императором в бытность его ещё наследником. Такой милый был юноша и так кончил. Как же я устала от жизни... Так что же Вы посоветуете приготовить сегодня моим детям? – без всякого перехода спрашивала она.

Детьми она звала своих кошек, которых не выпускала в коридор после случая, когда одну из них, случайно или нарочно, кто-то из соседей придавил в тёмном коридоре.

– Марыя Васылевна! – обращалась к ней Феня, послевоенная соседка, никаким генетическим наследством не обременённая. – Пустіть кошек у кухню, від мышей вже спасу нема. Воны в мэнэ вже стол прогрызлы.

Мария Васильевна, не удостоив Феню ответом, уходила к себе.

– От буржуйка недовбыта (недобитая), – бурчала ей вслед Феня и тут же набрасывалась на Шарлотту Максовну. – Тільки мені всь треба. Вы їм нічого не кажэть (не говорите).

Шарлотта Максовна, стараясь ни с кем не ссориться, возражала:

– Ну зачем Вы так? Она же старый, одинокий человек. Я куплю мышеловку, поставлю на кухне. Вот, попробуйте лучше блинчики с яблоками, – предлагала она Фене.

– Контрэволюція вона, от хто, – не унімалась Феня, – а Вы їх піддержуетэ, та Вы також, – обращалась она к ещё одной соседке, Панне Вениаминовне, вышедшей на кухню.

– Феня, что Вы вечно скандалите? Уж лучше занялись бы своим любимым делом, – парировала Панна Вениаминовна.

– Яким же цэ ділом?

– Разве не Вы целыми днями сидите на скамейке, осматривая и обсуждая прохожих?

– Ото! Вас забулась запытаты (забыла спросить). Я вжэ свое відробыла, не то шо Вы. Ніколы не робылы.

Панна, как звали её соседи, отступала под Фениным натиском и, пожав плечами, уходила в комнату, порог которой никто и никогда из соседей не переступал. Она всегда ходила с тряпочкой, была болезненно чистоплотна и нервничала, если нарушалась стерильная чистота её пола и половичков. Её муж, Семён Маркович, заведующий овощной базой, и единственный сын Боринька, очень страдали от этой её особенности, но поделаться с этим ничего нельзя было.

– Чыстюля! – сплёвывала ей вслед Феня и обращалась снова к Шарлотте Максовне:

– Лёта, давайтэ вже ваші млынці (блинчики), я їх потім із чаем зйім. А Мыхалыч сёдня поздно прыйде? А то в мэнэ щось нога болыть. Може він чымсь змажэ?

– Хорошо, Феня, я скажу, – отвечала Шарлотта Максовна и бежала во двор: пора было кормить детей.

Светлана и Марьяна, как называли близнецов, росли хорошенькими и краснощёкими. «Кровь с молоком», как говорят в народе. Похожи они были абсолютно. Только Шарлотта Максовна различала их. Михаил Осипович, который привязался к ним и старался проводить с ними каждую свободную минуту, путал их и восклицал:

– Лётик, ты посмотри на эти пуным (лица).

Он умилялся от каждой детской гримаски, от любого звука, издаваемого ими. Хохотал, когда какая-нибудь из них цепко хватала его за палец и пыталась засунуть его себе в рот. Всё время прошупывал им животики: не болят ли?

Как и все дети, они переболели всеми детскими болезнями. Стоило заболеть одной, сразу заболела другая. Шарлотта Максовна оставила работу – детей решили в ясли не отдавать, а на няню средств не было. Так подрастали сёстры, окружённые любовью родителей и равнодушием старшей сестры. Правда, иногда Римма проявляла к ним какой-то интерес. Если в комнате никого не было, она разглядывала их, любила дёрнуть за нос или легонько ущипнуть. Вбегавшей на плач матери говорила:

– Что ты всё суетишься? Поплачут и перестанут.

Так оно обычно и происходило. Как-то, когда им было около двух и она попыталась снова проделать подобное, её остановил недетский взгляд Светы и шлепок, которым та наградила старшую сестру. С этого дня Римма не трогала их, только передразнивала их «птичий» язык. А говорить они начали довольно поздно и, когда заговорили, оказалось, что они картавят. Квэт и Магъян, как называли они друг друга, были похожи не только внешне, но и привычками, например, засыпая, сосали палец, другой же рукой накручивали локон волос, при этом издавая причмокивающий сосущий звук. Забегая вперёд, скажу, что эта привычка сохранилась у них на долгие годы. При всей внешней схожести, довольно рано проявилась несхожесть в их характерах. В играх всегда главенствовала Света. Она была неизменной «учительницей», «врачом», «царевной». Марьяне же доставались роли провинившейся «школьницы», «больной», «служанки». Особенно Света любила брать анализ крови, когда они играли в «больницу» – стёклышком резала сестре палец. На робкие возражения Марьяны, что это больно, отвечала: «Надо взапгавду, не понагошку».

На свой вопрос: «Квэт, почему ты всегда «цагевна»?» – Марьяна обычно получала отпор:

«Я стагше на двадцать минут. Ты должна слушаться».

Эти двадцать минут возносили Светлану на недостижимую высоту «старшей» сестры. Марьяна, обожавшая её, во всём ей уступала. Кроткая и нежная, она в ответ только вздыхала. Была доброй, незлобивой, такая – «вся девочка». Очень смешливая, она заходилась в хохоте от щечотки, стоило Свете лишь наставить в её сторону пальцы.

– Света же относилась к сестре снисходительно, позволяла любить себя. Очень рано, чуть ли не с пелёнок, стала ревновать сестру к похвале взрослых. Её самолюбие бунтовало, если кто-то хлопал Марьяну по щеке и говорил: «Какая хорошенькая. Чудо». Взрослые не понимали, что ей, хоть и маленькой, но женщине, неприятно, если в её присутствии хвалят другую, особенно, если эта «другая» – её собственная копия. Её раздражало, если Марьяне оказывали больше внимания, чем ей. Как-то на день рождения, когда им исполнилось пять лет, кто-то из гостей подарил Марьяне красивую куклу с закрывающимися глазами, а Свете – плюшевую собаку. Свете понравилась кукла, и она изо всей силы ударила сестру. День рождения был испорчен: отшлёпанная Света стояла в «углу» в другой комнате и выглядела обиженной, но не виноватой, а плачущая Марьяна просила мать простить сестру. «Откуда в ней эта жестокость, хитрость? – размышляла Шарлотта Максовна. – Ведь она же учит их только добру, честности: взять хотя бы случаи пропажи конфет»... С малых лет у Светы был удивительный нюх на шоколадные конфеты, всегда водившиеся в доме, подаренные Михаилу Осиповичу благодарными пациентами. Она умудрялась отыскать припрятанную коробку, незаметно

её вскрыть и стащить конфету, другую. Часто это сходило с рук. Но иногда, когда она увлекалась и кража обнаруживалась, старалась подставить сестру. Интуитивно чувствуя, что Марьяна не способна на это, родители отчитывали обеих. Марьяна, опустив голову, тихо произносила: «не я», при этом её лицо, шею, уши, заливал мгновенный румянец. Света же злорадствовала, что сестра покраснела в самый «подходящий» момент. Перед родителями она заискивала, липла к ним с ласками, надеясь что-нибудь за это получить:

– Папуса, я тебя так люблю, что ты даже себе представить не можешь, – с придыханием шептала она отцу.

После таких слов она «крутила» им, как хотела. Да и никакой другой отец не устоял бы перед ними:

– Может это не она? Не они? – пытался оправдать он дочерей. На что Римма возражала:

– Папа, неужели ты не видишь, что она маленькая лгунья? А возможно, что и обе... Марьяна – тихоня. А, как известно, в тихом омуте... – и она многозначительно замолкала.

В остальном же детство их протекало мирно и спокойно. Шарлотта Максовна, играя прилично на фортепиано, учила их музыке, часто водила в оперный на балет, в зоопарк, где они любили кататься на пони. Два раза в неделю она водила их к логопеду, и это упорство было вознаграждено: в преддверии школы они вполне сносно стали произносить букву «р».

Им ещё не исполнилось семи, когда они пошли в школу. В коричневых плиссированных формах из шерстяного кашемира, в белых кружевных передниках и с белыми капроновыми в мелкий матовый горошек бантами, вплетёнными в косы, стояли девочки в ряду таких же первоклассниц во дворе школы и с замиранием в сердце слушали приветствие Нины Дмитриевны, их первой учительницы. После приветствия их ввели в «храм науки», школу №13, расположенную близко от дома и в тридцати метрах от площади Богдана Хмельницкого.

В первый же день пребывания в школе случился такой эпизод. Во время большой перемены первоклассницы разыгрались: бегали, кричали и не услышали, как прозвенел звонок. Когда появилась Нина Дмитриевна, разгорячённые, со съехавшими на бок бантами, они столпились перед ней.

– Девочки, вы теперь школьницы и не должны так себя вести. Кто из вас бегал?

Повисла тишина, только сопение прерывало её.

– Кто бегал? Шаг вперёд, – повторила учительница.

Из толпы первоклассниц выступила Марьяна.

– Это я бегала. Простите, больше не буду, – опустив глаза, сказала она.

Внимательно оглядев всех школьниц, Нина Дмитриевна с улыбкой спросила:

– Значит, ты одна бегала и наделала столько шуму? Ты которая из

близнецов?

– Я – Марьяна.

– Хорошо. Ставлю тебе за смелость и, главное, за честность твою первую пятёрку. Думаю, это будет уроком для всех вас, девочки.

Тут, растолкав столпившихся одноклассниц, вперёд выскочила Света:

– Нина Дмитриевна! А я... Я бегала и шумела больше всех. Честное слово, – и выжидающе посмотрела на учительницу.

– Хорошо, стань в строй. Пойдёмте в класс, девочки...

Из школы Света возвращалась раздосадованная: «Всегда этой выскочке везёт. Если бы не она...» С сестрой она едва говорила. И первый школьный день был испорчен навсегда...

(Продолжение следует)

ПОРА ВЕРОЯТНОСТИ

Осенний серый день тянулся долго, нудно и заканчивался большой лужей. Опавшая листва уже не шуршала под ногами и представляла мессиво, мало напоминающее золотую осень. Вечер пятницы, счастливый в прежние времена, когда можно было расслабиться и никуда не спешить, теперь пугал всё больше. Впереди – целых шестьдесят часов до понедельника, которые нужно было как-то прожить.

После визита к врачу она долго ходила по улицам, продрогла, а вернувшись домой, всё еще сидела в прихожей, прислонившись к мужскому пальто, висевшему на вешалке. Это пальто, купленное когда-то ею, создавало иллюзию присутствия в доме мужчины. Она понюхала его – оно пахло ширпотребом. Прошло, вероятно, не менее часа, и она заставила себя подняться, снять ещё не просохший плащ, сапоги с задравшейся на каблучках кожей от долгого хождения по лужам. Проступивший в сумерках порядок, царивший в комнате, резко дистанцировался от хаоса в её душе. Не зажигая свет, она села у стола и закурила. По дороге домой она думала: «вот приду – и поплачу». Но слёзы не шли – что-то затвердело в ней. Как ей хотелось иметь дом. Не просто квартиру, а дом – место во времени, где место и время слиты воедино. Где-то внутри возникло ощущение, что она находится в конце длинного этапа, навязанного ею самой себе, который стал мучительно тяготить, как сношенная обувь, напоминающая об исхоженных дорогах.

«Ставишь эксперимент, Анюта? – как-то спросила приятельница. – Над собой или над всеми нами?» Что она тогда ответила ей? Да ничего. Только хихикнула в ответ. Она и сейчас хихикнула, только в горле что-то булькнуло. «Расслабься! – мысленно приказала себе. – Расслабься!»

... Да, она никогда не была воплощением успеха. Никогда. Впрочем, она думала, что у неё хватит сил и упорства переиграть судьбу. На протяжении многих лет она чувствовала, что стоит в большой очереди, особенно за жизнью. Мужчины, редко встречавшиеся на её пути, не годились на роль мужа, либо не подходили для любой роли вообще. Ей так

мало нужно было от мужчин. Но её «мало» для них было «много», и они пугались этого. К обычным же интрижкам она не располагала, казалась недоступной и, когда многие подруги успели выйти замуж и даже развестись, всё ещё была одна.

Время стучалось, уносилось прочь и пора вероятности, что она наконец встретит «его», единственного, то ли подтверждая, то ли наоборот, опровергая теорию Эйнштейна, неудержимо стремилась к нулю. В юности она относилась к себе настороженно: ждала, когда из гадкого утёнка вырастет прекрасный лебедь. Но лебедь не случился – выросла обыкновенная, среднестатистическая женщина, которую одолевали комплексы. То ей казалось, что у неё слишком волевой подбородок, не соответствующий характеру. То – очень полные ноги, напоминающие ножки от рояля. То – чересчур тонкие волосы, не способные «держат» причёску. Личная жизнь не складывалась, и смыслом стала работа, в которой она черпала вдохновение. В отделе даже подтрунивали над её дотошностью: «Анюта «строит» коммунизм», – смеялись коллеги. – «Отдохни. Ты какая-то вся запылённая временем. И глаза у тебя потухшие. Нельзя же так, ты ведь ещё молодая», – говорили они. В какой-то момент она подумала, что они не так уж неправы. Нужно было что-то делать, что-то менять, ломать в себе стереотипы.

Начала она с того, что заставила себя пользоваться туалетом, находящимся в конце коридора у лестничной площадки, где всегда толпились курившие мужчины из их отдела. Первые разы дались ей с трудом. Прибегая к маленькой хитрости, она разыгрывала целый спектакль. Пунцовая от стыда, преодолевая себя, она заходила в туалет, не прикрывая плотно дверь. Включив воду, мыла руки и, не закрыв кран, забегала в кабинку. Затем, снова к умывальнику и, выходя в коридор, демонстративно встряхивала мокрыми руками. Открытие, что никто не обращает на неё внимание, ошеломило её: столько лет она бегала по надобности на другой этаж, где тоже были мужчины, но – «чужие», и это волновало её в меньшей степени. Вторым шагом было изменение собственного облика. Долго и придирчиво рассматривая себя в зеркале, она решила, что должна отличаться от остальных. Вот тогда и появилась её знаменитая чёлка, с которой она не расставалась, как бы не менялась мода. К тридцати она освоила основные правила игр с противоположным полом, стала курить в компании и на работе, присоединяясь к курящей группе. Иногда, во время подобных перекуров, она развивала мысль о браке как об отжившем явлении. «Союз между мужчиной и женщиной должен быть свободным от каких бы то ни было обязательств. На западе уже давно к этому пришли, – утверждала она. – Во все не обязательно иметь мужа, чтобы завести ребёнка. Нужно только правильно выбрать мужчину на роль биологического отца. Все мужики, в сущности, одинаковы и достаточно примитивны. И продвинутые модные мальчики, и прагматичные, состоявшиеся, убелённые сединой. Зачем им мозг? У них ведь всего

одна извилина, да и то – прямая. Им достаточно спинного мозга, остальное – роскошь», – смеялась она. Высказываемые ею заёмные мысли, услышанные или вычитанные где-то, закрепили за ней прозвище «феминистка». Всё более погружаясь в образ, она уже не знала, где её собственные мысли, где заимствованные. – «Мужчина – существо прилагательное. Его нужно принимать, как таблетку, вот и всё. Нравится это кому-то или нет».

Она, что называется, эпатировала общество. И это находило как ярких противников, так и сочувствующих. День ото дня менялся и её внешний облик. К «фирменной» чёлке прибавился и новый стиль в одежде, яркий и раскрепощённый. Никто, даже близкие приятельницы не догадывались, каких усилий ей стоило бороться с собственными фобиями. Часто казалось, что она падает с десятого этажа вниз головой. Однако дух борьбы разыгрывался в ней не на шутку, и за этой игрой – борьбой в свободную и независимую женщину она не заметила, как постепенно из Ани – Анюты превратилась в Анну Григорьевну с паутинкой морщин в уголках глаз и губ, тщательно скрываемых под слоем крема. Она не без удовольствия рассказывала подругам о несуществующих событиях личной жизни, о мнимых романах, прекращаемых ею, как только она теряла интерес к партнёру. Теперь она уже не задерживалась допоздна на работе, как прежде. А всё куда-то бежала, мчалась. И всем казалось, что её жизнь насыщена встречами и расставаниями, вечеринками и застольями.

Как-то она действительно попала на вечеринку по случаю новоселья кого-то из коллег. Она пела, танцевала, наверное, много выпила, но подвело её к этому почти мистическое состояние. «Сейчас или никогда», – звучало в её сознании. Ноги заплетались, голова кружилась, но как ни странно, она контролировала себя и отчётливо помнила объятия, слова любви, а затем первую в её жизни близость с незнакомым мужчиной, какую-то наспех, безразличную и неуклюжую. Это событие не оставило никакого следа в её сердце, но послужило толчком новому витку в игре – ей показалось, что она беременна. Новость никого не удивила – многие видели разгоревшийся и тут же погасший роман. Теперь, ожидая рождения ребёнка, она была почти счастлива, если бы не токсикоз. Она действительно неважно себя чувствовала и отправилась к врачу...

Сейчас, сидя в тёмной комнате, закуривая очередную сигарету, она поёжилась, вспоминая пытливый взгляд врача, осмотревшего её:

– Почему Вы решили, что беременны? У Вас была близость с мужчиной?

– Конечно, была... Кроме того - все симптомы... Я хочу ребёнка. Больше всего в жизни...

Врач с сожалением смотрел на неё:

– Анна Григорьевна! Вы не беременны. Вы – девственница... Вероятно, близость была, но не полной. Такое случается. Правда, очень редко. Я направлю вас к психоневрологу.

... Она не помнила, как вышла из кабинета, потом на улицу. Ощутила себя только бродящей по лужам... Время близилось к ночи, и дым её сигареты, смешиваясь с дыханием, превращался в некую третью, иную субстанцию.

Что она скажет в понедельник? Что всё рассосалось? Что всё существовало только в её сознании? Она не знала. Она так устала... Возможно, завтра, если будет дождь, она оденется потеплей и совершит трамвайную прогулку по городу. Будет ехать долго, долго. Никуда... Ни за чем...

* * *

Утро опьянело от бессонной ночи.
Не пытаюсь разыгрывать веселье.
День грядущий снова мудрым быть не хочет.
Чувствую пред ним своё бессилие.

В зеркале – двойник, с которым поседели.
Безотчётных мыслей – целый хоровод.
И раскачивает кто-то жизнь – качели.
И несёт меня слепой водоворот.

Не напрасны будут все мои метанья.
Где-то пристань позабытая стоит.
И предчувствием, и смутным ожиданьем
Со Вселенной моя кровь заговорит.

* * *

Я для себя закрыла все пути.
Четыре стенки. Потолок и пол.
Диагональ? Периметром идти?
Мне всё равно. Что поперёк. Что вдоль.

Мелькают километры за окном.
Путём поглощена всецело я.
Бегу себя. И мысли ни о чём.
Дорога впереди – бесцельная.

* * *

Танцует дождь.
Небо промокло.
Каплями сплошь
Устланы окна.

Дождь затяжной
Дробь отбивает.
Дождь заляжной
Меры не знает.

Плещется ночь.
Соскучится день.
Сердцу бы – прочь,
Но ему – это лень.

* * *

Вдруг мне послышится в тиши
Забытый звук. А может – имя.
И память вновь не погрешит.
И груз с души моей не снимет.

Обманный звук пронзит меня.
Замрёт внутри мазком печали.
И сердце выпив всё до дна,
Умчит в неведомые дали.

* * *

Как люблю тишины покой.
Не потому ли, что знаю,
Как глаза предают порой?
Я помню. Не забываю.

А помнить – не надо. Забыть.
Моя бесприютна память.
В вечность седую уплыть.
Сердце своё там оставить.

Вернуться обратно. Успеть.
И настезь – окна и двери.
Мне лучшую песню допеть,
Чьей боли всей не измерить.

* * *

Время – не здешнее.
Измеренье – другое.
Дни – всё поспешнее
И окутаны мглою.

Мы – не безгрешные,
Прошедшим пропахшие.
Дни мои прежние,
Настоящим не ставшие.

Так же следит ствол.
Так же смердит мрак.
Так же торчит кол.
Так же мечи в пах.
Каждый второй – вол.
Каждый второй – прах.
Если король гол –
Каждый второй – враг.

* * *

Песчинки в колбу засыпают
И раскрывают им воротца...
А струйка еле-еле льётся
И временами засыпает.

Скорей, скорей! – другим неймётся:
Проскальзывают, проползают,
Протискиваются. Сдаётся –
Спешат, как будто опоздают.

Когда ж почти не остаётся
Песка, вдруг – скорость нарастает...
Прилипнуть к стенкам, приколоться!
Да поздно. Скляночка пустая.

* * *

Подъехать на какой козе,
Мой скорбный вид не вынося,
«Она – того, она – совсем»
Не знают близкие, друзья.
Давным-давно, в утробном сне
Печаль взглянула на меня,
Тоска пришла чуть-чуть поздней.
И все – как все, а я – как я.

* * *

Бары, пары, парк увеселений
За кормой оставил теплоход.
Что там впереди: мираж? Виденье?
В марево слились вода и свод.
Время вышло из повиновенья.
Стрелки сбиты, не стучит завод.
Беззаботна жизнь до оглушенья
И до опьяненья кислород.

* * *

Только вчера жаром – Ницца, Неаполь,
Только вчера страсти не на задвижке,
Только вчера в баре – пицца и граппа,
Только вчера счастье, даже с излишком.
...Корни скрутило в куриную лапу,
Лист на дороге – раздавленной мышкой.
Смерть подбирается тихою сапой,
Только оденет свод в драп – лету крышка.

* * *

Вязну в догадках, теряюсь в сомнениях,
Все объяснения – к чёрту, не те!
В чём эти лучшие в жизни мгновенья:
В осуществленьи мечты иль в мечте?

* * *

С зари до зари косари точат косы.
Боже, ну сколько же можно косить?!
И летом, весною, и в зиму, и в осень
Урчит и урчит ненасытная сыть.

* * *

Выпала бы пора –
Выпала бы. Пора.
Выдала б на-гора
В муках, не на «ура».
Вроде бы мозг нарвал,
Вроде бы не наврал.
Срочно свистать аврал,
Только б не отобрал,
Чтобы нарыв прорвал.
Где-то была нора
В тёмном углу двора.

* * *

Всё не так, всё не сяк –
Всё наперекосяк.
Всё лежит в тех краях
В состоявшихся днях.
Мы на равных полях,
Мы на равных паях.
Оба мы на нулях
В застоявшихся днях.

МАРАТ

Я мог бы не указывать национальности моего героя, но сам факт его отречения от неё, пусть даже вызванный особыми обстоятельствами советской действительности, служит существенной деталью его характеристики.

Нового начальника техотдела сотрудники института приняли с недоверием, а узнав поближе – возненавидели. Назвался он Маратом Борисовичем, хотя по паспорту числился «Боруховичем», что указывало на его еврейское происхождение. Но в злополучной пятой графе было чётко выведено: «русский». Директору он приходился свояком, и поэтому содержание институтских коридорных разговоров для начальства не было секретом. Стоило собраться на перекур нескольким сотрудникам, как тут же возникал Марат. Открыто никто не выражал ему неприязни, кое-кто даже льстил во избежание возможной опалы.

Учитывая моё положение в институте, он сразу же начал искать дружбу со мной, заводил разговоры неслужебного характера, подбрасывал «информацию к размышлению». Нас сближала любовь к шахматам и взаимные выпивки за закрытыми дверями наших кабинетов.

Марат оказался эрудированным, интересным собеседником. Во время очередного застолья я спросил его, почему он так подчёркнуто дистанцируется от своей национальности.

– Какой национальности? – опешил он. – Я русский.

– В принципе, – ответил я, – мне безразлично. Просто я не понимаю тебя. Думаю, стыдно отказываться от своей национальности.

Он, без паузы, сразу же перевёл разговор на другую тему.

Коллеги искренне удивлялись моим приятельским отношениям с Маратом. Сотрудница нашего отдела, деликатнейшая Берта Исааковна, сказала мне с упрёком:

– Почему вы дружите с этим человеком? Что вас может связывать с ним? К тому же еврей, который отрекается от своей национальности, способен на многое... Вы когда-нибудь вспомните мои слова.

Но тем не менее я продолжал общаться с Маратом. Мне было интересно, да и повода для разрыва не было. Я замечал, что кроме себя он никого не уважает, своим коллегам он давал уничтожающие характеристики, убедительно их обосновывая. Называя очередную жертву, он сквозь зубы выносил свой вердикт: «мразь», презрительно морщась.

Однажды Марат предупредил меня о грозящей опасности. Дело в

том, что я часто читал свои не очень лояльные к власти стихи. По чьему-то доносу на меня завели дело, втайне вызывали на допросы в КГБ моих друзей и сотрудников. Как оказалось, следствие длилось несколько месяцев, но никто, даже намёком, не дал мне об этом знать. Я продолжал вести себя, по-прежнему ничего не опасаясь. И тут Марат предупредил меня о предстоящем вызове к следователю, рассказал, что его уже вызывали и он хорошо обо мне отзывался.

Теперь мне кажется, что в КГБ решили своеобразно предупредить меня о предстоящем вызове, используя для этого Марата. И я воспринимаю это как предупреждение от Бога, переданное через Дьявола. «Там» разговаривали со мной корректно. Взяли подписку никогда не писать и не читать своих стихов, даже о любви и о природе. «Никаких!» — отрезал следователь. С ним, думаю, мне повезло. А коллеги, как и прежде, открыто смотрели мне в глаза. Конечно, кто-то из них написал на меня донос. Но кто? С Маратом я по-прежнему поддерживал добрые отношения. Вскоре произошло следующее.

Обычно я ходил на работу пешком, хотя это было не так уж близко. Дорога занимала минут сорок. Как-то задержался дома, и мне пришлось ехать на автобусе. На остановке я встретил сотрудницу нашего института. Она жила недалеко от меня. Первый автобус промчался мимо, не останавливаясь, во второй мы с трудом втиснулись и едва не опоздали к началу рабочего дня. Я предложил ей впредь ходить на работу пешком, и она сразу же согласилась.

Сейчас, на закате жизни, когда с достаточной долей справедливости можно дать оценку прошлому, я могу сказать: самые счастливые мгновения, сохранённые памятью, связаны с этой женщиной. Каждое утро, идя на работу вместе с ней, я испытывал удивительную душевную гармонию с моей спутницей. Как-то мы шли с работы по безлюдной улице и у меня возникло естественное желание обнять её. Я не сделал ещё никакого движения, но услышал:

— Вам хорошо со мной?

Такой вопрос женщины обычно задают в постели.

— Хорошо?.. Это не то слово, — ответил я искренне.

— В таком случае никогда не делайте этого со мной.

— Чего не делать? — удивился я её интуиции.

— Вы это сами прекрасно понимаете. Признаюсь, я желаю ваших объятий. Вы импонируете мне как мужчина. Но не пытайтесь направить наши отношения в это русло. У меня прекрасная семья, муж меня вполне устраивает и у меня нет оснований ему изменять. Да и вам не к лицу заводить служебный роман. Уже то, что мы с вами приходим на работу вместе и вместе с ней уходим, даёт повод для ненужных разговоров.

Прогулки наши продолжались. А потом, образно говоря, грянул гром, но не с ясного неба.

Вызвал меня директор и потребовал прекратить «этот затянувшийся роман».

— Тут что, с ума сошёл? — вразумлял он меня. — Ещё твоего КИ Ъ не забыли, а ты в «аморалку» лезешь.

— Да нет здесь никакой «аморалки», — пытался я доказать ему. — Мы просто живём по соседству и вместе ходим на работу.

Никто в наши платонические отношения не верил.

На следующее утро я шёл на работу один. Спутница моя на обычное место наших встреч не пришла. Марина, так звали её, была заметно расстроена. Кто-то звонил её мужу на работу и в грубой форме информировал о наших с ней, якобы развратных, отношениях. Марина рассказала всё мужу и он ей поверил, но потребовал, чтобы прогулки прекратились. Какое-то время она соблюдала требование мужа, но вскоре прогулки возобновились.

Через некоторое время в квартире Марины раздался звонок. К телефону подошёл её муж, послушал мгновение и подозвал Марину. Она взяла трубку и услышала: «... сидишь, бараньи рога отращиваешь, а твоя жена...»

— Мерзавец! — перебила его Марина. — Я узнала твой голос, Марат!

Утром мне всё стало известно. Я зашёл к Марату. Увидев меня, он не проявил и тени смущения, смотрел на меня, приветливо улыбаясь, как будто ничего не произошло.

— Вот, Марат, ты и проявил свою человеческую сущность. Но какая же несложная понадобилась для этого питательная среда. Тех людей, которых ты обвинял в предательстве, ещё можно было понять. В той ситуации не каждый способен проявить благородство, пожертвовав своим благополучием ради спасения болтуна, влипшего в беду по собственной глупости. Но ты-го, Марат, ты? Ведь тебя никуда не вызывали, показаний не требовали, иголки под ногти не загоняли, яйца твои в дверной щели не зажимали. Что же двигало тобой, когда ты набирал номер телефона и произносил в трубку слова, которые могли разрушить чужую семью?

Я смотрел Марату в глаза, но не видел в них ничего похожего на раскаяние. Он так и не сказал ни единого слова. Только скулы его двигались, когда он стискивал зубы.

ВЕЛИКАНЫ

Мы все прекрасны несказанно.

Б.Ахмадулина

Под вязким утренним туманом
из века в век, из года в год,
подобны греческим Титанам,
мы подпираем небосвод.

Прорезав войлок туч ленивых,
встречаем первыми восход,
и шумы ранних птиц крикливых,
и солнца медленного взлёт.

Толпою грозных великанов
стоим в чалмах из облаков,
хозяева гранитных кланов
и мудрецы былых веков.

Горды, задумчивы, суровы,
мы тайны вечности храним.
Молчат надёжные покровы,
не время открываться им.

На высоте, с ветрами споря,
летают горные орлы,
а у подножий плещет море,
ломая пенные валы.

Вода несётся вниз потоком,
сверкает искрами каскад,
его окрасит под барокко
неувядающий закат.

Садится в море шар багряный,
но будут звёзды нам светить.
«Мы все прекрасны несказанно»,
как только горы могут быть.

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Мне нравится цокот копыт,
но в городе – редкость, явление,
ворвётся он музыкой в быт
и ритмом создаст настроенье.

Как чётко стучат об асфальт
четыре железных подковы,
сопрано, два тенора, альт
процокать квartetом готовы.

Но музыка – это для нас,
для лошади только работа,
и смотрит базальтовый глаз –
не сбить ненароком кого-то.

Рысистая сильная статья,
все мышцы твои в нетерпенье,
готова галопом скакать,
в характере прыть, напряженье.

Широкой атласной волной
спускается светлая грива,
довольный твоей белизной,
гарцует наездник игриво.

А ты весела, озорна,
и люди глядят, как на чудо.
Любуюсь гобой из окна,
твоей красотой белогрудой.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Словно чёлн без вёсел и мотора,
плавал белый лебедь по просторам.
Гордо, величаво и степенно
песню нёс на крыльях белопенных.

Светлую, горячую, хмельную
песню лебединую простую.
Но порой в предчувствии иль скуке
приплетал он реквиема звуки.

Радость и печаль бывают рядом,
словно наказание и награда.
И в стальном спокойствии безмолвном
катят песню медленные волны

бережно и нежно, как святыню,
чтоб она звучала и поныне
в белых берегах и в поднебесьи,
чтоб звалась любовью эта песня.

Выстрел прозвучал, и долгим эхом
раскатился он зловещим смехом.
И не стало той счастливой песни,
умерла и больше не воскреснет.

РЕВНОСТЬ

Смотрела женщина в упор
ревниво как-то, напряжённо,
в уме готовя приговор,
какой всегда выносят жёны.

Что видела она во мне?
Летит её воображенье,
как лодка на речной волне,
как листьев буйное круженье.

Напрасна ревность. Друг её
кряхтит, придавленный годами,
трещит, как старое бельё,
и нужен он лишь этой даме.

* * *

Разыгралась, заигралась,
проиграла.
Что хорошего осталось?
Очень мало.
Счастье вилоось синей птицей –
не хотела,
ускользнула та синица,
улетела.

СНЕГ

Снег, снег, снег.
Покрывает деревья, карнизы,
одевает машины, как в ризы,
совершая неслышный набег.

Снег, снег, снег.
Город чистым становится, белым,
но каким-то тревожно-несмелым,
как седой и больной человек.

Снег, снег, снег.
Словно где-то перины взбивают,
кружат хлопья, ложатся и тают,
завершив свой стремительный бег.

КУКЛЫ

Смеются куклы, веселятся,
они танцуют и поют,
им сны тяжёлые не снятся,
хотя у них нелёгкий труд.

Не знают куклы дружбы лживой,
когда все средства хороши,
и не проникнет взгляд фальшивый
вглубь синтепоновой души.

Не тронет их гнилая зависть,
где каждый сам себе кумир,
чиста их кукольная завязь
и чист их непорочный мир.

Добры, доверчивы, беспечны,
они приносят радость всем,
улыбки детские их вечны,
неомрачённые ничем.

Не знают куклы беспокойства,
их жизнь течёт, как сладкий мёд.
Вот если бы такие свойства
имел с запасом кукловод.

НА СВАЛКЕ

Горы мусора – птицам работа,
здесь, наверно, отыщется что-то,
даже если порыться недолго.
Среди тряпок, бумаги, осколков
отыскать можно много съестного:
сыра, хлеба и даже мясного.
Расшумелись сердито вороны,
не поделят никак макароны.
Тянут в разные стороны дружно,
а зачем и кому это нужно?
Бесполезен такой поединок,
макароны – шнурки от ботинок.

В ПРИМАКАХ

Развиднелось, но баба Варя не открывала ставни. Она смотрела в щёлочку окна на полянку перед домом. Красавец тополь стоял на месте. Он был ровесником её старшей дочери.

Запланированная на утро его казнь была отложена потому, что запил по чёрному главный её исполнитель – Начальник родины.

– Кем работает Никита Сергеевич? – спросили в военкомате у хрякообразного призывника, пытаясь выяснить уровень его политической подготовки.

– Начальником родины! – отчеканил Мотя Хмырь.

Сначала командир хотел изобразить оскал недоумения и даже огорчения: «Не знать о существовании должности генерального секретаря Коммунистической партии – это явный дебилизм, и призывник этот глуп и туп, как бревно, но ведь он слово «Родина» употребил.

Командир уставился в стену, на плакат «На страже Родины». На нём был изображён солдат с винтовкой, с асимметричными щеками, как будто бы у него был флюс, а под сапогом красовался призыв:

В дождь или холод,
В слякоть и зной,
Бдительно стой
На посту часовой!

– Годен! Пойдёшь служить в Германию! Там патриоты позарез нужны!

Как узнали в деревне про уровень мотыкиной политической безграмотности – неизвестно. Но с тех пор к кличке «Хмырь» прибавилось ещё «Начальник родины». Произносили обзываловку одним словом и не тяготились его длиной. Мотыка-хмырь-начальник-родины служил в комендантском взводе, прибавил в весе ещё десять килограмм и вернулся с нависающим над солдатским ремнём тугим пузом пивного алканавта. Трезвым он был молчалив, а подвыпив, делился впечатлениями. Всего несколько слов можно было вытянуть из него:

– Девки в Германии – стремные, а пиво – хорошее.

Названия пива он не помнил, но уверял, что пиво баночное. Алкоголь действовал на него положительно. Он светлел лицом, становился бы болтливей, если бы умел говорить. Но рот был ему необходим для еды, питья и свиста. Немцев презирал: «Пьют из напёрстков, а из стаканьев – никогда!» Рассказывал байку про то, как русские в Германии пили водку «стаканьями», а восхищённые посетители, выйдя за ними из кафе, страшно удивились, что солдаты не умерли от алкогольного опьянения. В трезвом состоянии Мотыка пребывал в пониженном настроении. Его

шурин – хирург по профессии производил с ним эксперимент: он будил Мотьку в четыре часа утра и подносил к его носу кружку убойного первача. Мотька жадно выпивал сивуху и снова засыпал. Но всё же, Мотька не спился. Его ограничивали: жена, дети и неблагополучное материальное положение. За него вышла замуж старшая дочь бабы Вари, и перешёл Мотька-хмырь-начальник-родины жить к тёще в дом.

– Варвара Фёдоровна! – любопытствовал паскудный сосед. – Ты, где это такого кабанчика отыскала?

– Это доченька моя его в дом привела. Он мужик не ехидный, работающий, руки у него на месте. А я – женщина вдовая, помощник он в хозяйстве хороший. Он же у меня в примаках, не я у него.

В штыки его встретили две младшие дочери, а он не расстроился. Тёшу называл мамашей, её это коробило сперва: «если уж не мамой, то хотя бы по имени отчеству называл, что ли?»

Но потом привыкла. А потом и средняя дочь – студентка медицинского института замуж вышла и приехал погостить второй зять – тоже будущий доктор. Чтобы наладить отношения с Мотькой, студент таскал воду, колол дрова, подметал двор. Мотька приходил с работы, еле заметно кивал в знак приветствия, брал метлу и мёл по чистому двору ещё раз. Он обедал с дочерью на кухне.

– Не серчай на него, – всполошилась тёща, – он с виду бирюк бирюком, душа у него мягкая. Кино индийское смотрит – знаешь как плачет».

– Здоровойте! – почувствовал неладное Мотька. Сел за стол, но в разговор даже за рюмашкой не вступил. Вечером студент зашёл к нему в комнату. Мотька смотрел телевизор. Студент смотрел на экран, где гнал Печорин коня, пытаясь догнать Веру. Бодрил скакуна шенкелями и загнал его, и уже упавшего бил, пытаясь поднять, но не поднял. Студент с интересом смотрел на Мотьку.

Так психиатр смотрит на душевнобольного, увидев на его лице некое подобие обычных для нормального человека, но совершенно невозможных проявлений чувств для ушербного пациента. На Мотьку жалко было смотреть – он морщился, растирал лицо, как будто умывался снегом, потом ударил себя с досадой по бедру, сказал не глядя на студента: «Садись, чё ли!»

Встал, вышел, потом заглянул и тихо сказал: «Пойдём, помянем жеребца». Достал тещину заначку, налил по полному стакану, крикнул, поддел вилкой солёный груздь и сокрушённо покачал головой: «Какого жеребца загнал? Вот же сука!»

Никогда больше после этого не называл студент Мотьку хмырём, а вместе с кличкой куда-то ушло и потерялось имя. Он остался «начальником родины».

Вскоре и младшая дочь привезла будущего зятя на смотрины. Был он

родом с Крутинки, там же преподавал в школе физику и был столь скро- зочно красив, строен и белокур, что назван был принцем. Паши и шу- ку, а оказалось – всерьёз. Тёща так и говорила: «А вот Ганькин принц»

На свадьбу в Тару съехалась родня с окрестных деревень – коренные мужики в тулупах; несло из сеней морозцем, пахло в доме овчиной, дёгтем, пирогами, холодцом, винегретом – его наделали целый таз. Если за стол, наливали в зелёные довоенные стограммовые стаканчики каж- дые пять минут. Произносили нехитрый тост, выпивали и снова напол- няли стаканчики, зорко следя за соседом: а не хитрит ли, уклонившись от выпивки? Бывший студент, ставший доктором, и взаправду хитрил: делал маленький глоток, косил глазами на соседей и, улучшив момент, одним движением, выливал водку в фикус. Справа от него сидел Паша – муж тёщиной сестры; смотрел недоверчиво и терзал вопросами:

– Ты кем до института работал?

– Я до армии в шахте работал.

– Ну, и где эта шахта?

– На Урале, в Гремячинске. Кизеловский угольный бассейн.

– И как твоя шахта называлась?

– Шестьдесят вторая капитальная, восточное крыло.

– Нет такой шахты! – убеждённо заявил дядя Паша.

– Как это нет?! Если я на ней работал!

– Кем работал, кем?

– Второй горизонт, опрокидчик.

– Нет такой должности!

Когда доктору допрос с пристрастием надоел, он выпил, наконец, с досады до дна и спросил, показав на дядю Пашу: «Отчего он у вас такой подозрительный?»

Так появилось в родне ещё одно прозвище: «дядя Паша подозритель- ный». Свадьба была скорее чинной, чем весёлой – до упаду не плясали, но до упаду напились. Валялись на полу в горнице, в спальне и в кори- доре. Те, кто был ещё на ногах, пытались петь.

Принц перевёз жену в Крутинку. Мотыка, хоть и получил трёхком- натную квартиру, у тёщи бывал ежедневно, помогал по хозяйству, полу- чая за это честно заработанные сто грамм.

Держал для себя поросят, кур, срубил баньку, летнюю кухню, пе- ребрал хлев. Квартиру свою на третьем этаже ненавидел и называл её «клетушкой».

Летом дом наполнялся роднёй. Семейный очаг манил, как магнитом. Сын уехал жить в Ленинград, но затосковал по Сибири и перебрался в Омск. Средняя дочь уезжала в Карелию, но тоже вернулась в Омск. Млад- шенькая пожила в Крутинке, но вскоре поселилась в родном городе, побли- же к матери, в Тару, в Тарочку, в Таруныку, как говорили внуки; не на море, не на курорты, не в дома отдыха, а сюда, где чистый воздух, весёлые засто-

ля, шашлыки под тополем, ядрёный квасок с похмеля, мамина окрошка вёдрами, пахучая малина в огороде у плетня, загар за тесовыми воротами – от посторонних глаз защита – там покой, там мама, там Родина. Как ухитрялась баба Варя безбедно существовать на скудную пенсию и даже внучке помогать? Непостижимо. Принц сбежал от младшей дочери, и внучка была на бабушкином попечении. Последний рубль отсылала ей в университет.

Предлагали бабе Варе деньги те, которые из Карелии возвратились, но она не брала.

Приезд в Тару старались подгадать к тому времени, когда пойдёт метляк. Дядя Паша на Иртыше брал стерлядку вёдрами. Парились у него в баньке, охлаждаясь забористой холодной брагой, закусывали свежей стерлядкой, чуть подсоленной и посыпанной мелко нарубленным укропчиком. А утром принимали на посошок и везли рыбку в Тару, и было весело, беззаботно и по-родственному тепло на душе, и казалось, что так будет всегда, главное, чтобы мама была жива. «А если, не приведи господи, мама умрёт, – говорила та, что жила в Карелии, – я дом продавать не дам. Пусть будет он общим. Деньги буду давать на его содержание, пусть этот дом будет нашей малой Родиной».

* * *

Прошло тридцать лет. Решили дом обшить для красоты. Приехал сын-хирург из Омска, и с Мотькой управились с этой работой за неделю. Как новенький стал смотреться дом, украшенный жёлтой струганной доской, а как лаком покрыли для прочности, стал так хорош, что глаз отвести невозможно. Вот тут и случилось неожиданное.

Баба Варя дала сыну деньги за работу. А зятю не предложила. Стал он уговаривать шурыка:

– Бери, коль дают.

– Да ты чего, мам? Это же общий наш дом, как я с тебя деньги возьму? – упирался сын.

– А я, сынок, не тебе, а твоей жене, чтоб она тебя мне на помощь отпускала. *

И сын деньги взял. И появилась трещина в отношениях. А вскоре пришла ещё одна новость:

Мотька оставил свою квартиру младшей своей дочери, а сам с женой перебрался к тёще.

– Ничего страшного, понять его можно, – согласились родственники, – у него младшая замуж вышла, где им жить? Не на улице же? В конце концов жил он раньше вместе с нами».

А в следующий приезд ещё один сюрприз: жена Мотьки двум своим сёстрам и брату денежки отстегнула. Не много, так примерно одну двадцатую от продажной стоимости дома, можно сказать – копейки, но всем дала поровну за то, что она круглый год домом пользуется, стыдно, мол, в примаках жить, поэтому мама весь дом на неё с мужем переписала.

Никто не возмутился, не всполошился, привыкли, что мама всё правильно делает. А причина была уважительная: мама старенькая, а тут хозяйство, дрова, огород, скотина – не управиться без помощников.

И кончился мир в семье. Никто не запрещал гостить в родительском доме, но как-то атмосфера изменилась. Гостили уже не у мамы, а у старшей сестры и у Начальника родины. Начались мелкие стычки среди сестёр, да и брат уехал в Омск со скандалом. И всякие мелочи стали портить настроение. Даже сытный мамин стол изменился к худшему. И хлеба в котлетах стало больше, чем мяса, и чесноку – не меряно. И мать стала стесняться больше есть, боясь, что заворчит зять и плохо о ней подумает. Всё становилось в доме чужим и плохо приспособленным для гостевания. Но всё это было ещё полбеды, если бы не мама. Она старела на глазах, дряхлая. За год – сгорбилась, похудела, голос стал старчески дребезжать. В глазах появилось и застыло страдальческое выражение.

– Чтой- то ты, Фёдоровна, совсем сдала, – мерзко улыбнулся сосед, плохо себя чувствуешь?

– Чувствую себя по возрасту. Четверых детей подняла, пора и состариться.

– Ну, какие твои годы?! Тут не возраст виной, тут – другое.

– А что же другое?

– Раньше он был у тебя в примаках, а теперь – ты у него.

Хотела возразить, но подумав немного, согласилась:

– И то правда.

Родня разделилась на два лагеря: по одну сторону – Мотыка с женой, по другую – все остальные.

Уходили из дому сплетничать.

– Почему мама такая вялая?

– Потому что утратила собственную значимость как хозяйка и у неё пропало «чи».

– Что ещё за «чи»?

– «Чи» – это жизненная энергия по-китайски, – объяснил муж средней дочери.

– Да бросьте вы! Просто она стесняется есть при хмыре. Это бывает при белковом голодании.

На другой день, когда Мотыка с женой ушли на работу, сёстры притащили ей полные сумки снеди. Положили всё это в холодильник:

– Вот, мама, ешь это всё побольше.

Утром заглянула дочь на кухню и заплакала. Мать, стоя у раскрытого холодильника, жадно ела сливочное масло полным ртом без хлеба. Своё ела.

– Голодная, натурально голодная, вот сволочи! Они её голодом уморить хотят! Всю жизнь нас уму-разуму учила, а сама что наделала? Разве можно было на кого-то дом переписывать? – сокрушались дочери.

– Пусть бы жили, как и раньше, но зачем дом-то на хмыря переписывать.

— А он бы ей тогда не помогал.

— Помогал бы. Пообещала бы дом завещать, он бы ей до конца задницу бы лизал.

А вечером разругались сёстры. До того кричали, что пошёл Мотыка их успокаивать. Получил оплеуху от Прынцевой жены и вышел сконфуженный. На другой день помирились и крепко выпили. Поклялись больше не ругаться, а как стали уезжать, Мотыка сказал, обращаясь ко всем:

— А ежели кому не ндравится, как я мамашу содержу, так возьмите её к себе.

Все промолчали.

— Нет, я сурьёзно, — продолжал он, — у меня пожила маненько, а теперь пусть у вас поживёт.

— Как это у тебя?

— А у кого?

«Народ безмолвствует» — вспомнилась фраза из пушкинского «Бориса Годунова».

* * *

После отъезда родственников Мотыка приволок чугунную трубу и вкопал её рядом с канавой.

Канавка была широкая, пологая, сухая и через неё можно было подъехать на машине прямо с с асфальта к дому. Гостям пришлось бы объезжать целый квартал по разбитой дороге и шансы добраться до тёщиного дома равнялись нулю. Потом он пошёл за топором, подошёл к шумевшему листвою на ветру тополю, размахнулся и с ненавистью ударил по стволу. То ли топор был тупой, то ли тополь крепкий, но лезвие вошло в дерево самую малость. Подошла встревоженная баба Варя:

— Ты это что задумал? Он же твоей жене ровесник! Когда она родилась, отец её, царствие ему небесное, этот тополь и посадил...

— Близковато посадил. Если ветром такую махину порушит на крышу — нам всем хана.

— Он крепкий и с него пух по весне не летит. У всех двор в пуху, а наш тополь аккуратный. Вот ты взялся его рубить, а не знаешь в какую сторону он упадёт? Может, прямо на дом и рухнет.

Мотыка задрал голову и стал стёсывать топором кору с тополя. С припуском брал, на палец глубиной срубал кору по периметру.

— А это зачем?

— Пусть высохнет, а по весне я его бензопилой на дрова спилю.

Посмотрела баба Варя внимательно и пошла не домой, а в церковь. Пришла с иконой Пресвятой Богородицы и с этого дня молиться стала.

Тополь додержал листву до глубокой осени и ушёл в зиму, обречённый на смерть. Но случилось чудо: пришла весна и он выгнал сперва пахнувшие прополисом липкие почки, а затем и ярко-зелёную листву.

Мотыка срубил еще слой по периметру в палец толщиной, но и после этого тополь не высох. Шумел густой кроной и не сбрасывал листву до осени и, может быть, дожил бы до весны, но зять решил его добить. Он привязал к тонкой бечеве гайку, раскрутил её и метнул, перебросив через толстый сук. Потом привязал канат, позвал соседа на помощь и подошёл с бензопилой к тополю. Завёл, примерился, наклонился, и двигатель заглох. Да что это с бензопилой? А баба Варя всё это время смотрела на них в щёлочку. Отложили горе-лесорубы дело до утра. Но и утром не завелась пила, и опять тополь остался жить.

– Слава тебе, Господи, – благодарно крестилась баба Варя, – теперь он до весны доживёт».

А в начале ноября вернулась она из церкви и увидела пенёк вместо дерева.

– Ты бы отвёз меня на Иртыш – обратилась она к зятю.

– Иртыш, мамаша, большой.

– А я скажу тебе куда. Я знаю место, где муж мой утонул.

– Как я на мотоцикле поеду, снег уж лёг, позориться только, он, поди, уж в ледовитом океане плавает, сколь лет прошло, всё не нашли, – ворчал Мотыка, но всё-таки поехал.

Добрались до пристани, свернули направо, проехали по берегу с километр.

– Останови здесь, – попросила тёща, – ты пока погуляй, в магазин сходи, а я тебе денег на бутылку дам.

Долго смотрела, словно хотела увидеть в воде что-то..

– Вот кабы ты не утонул, – сказала она, – мне бы не пришлось на старости в примаках жить.

Она позабыла, как он пил, бил её, гонял семью, поднимал их ночью, когда приводил собутыльников, как заставлял сынишку играть на баяне, а тот, бедный, спать хотел и спросонья ошибался, получая за это подзатыльники. Да и знал он по-настоящему всего одну песню:

«Называют меня некрасивою, так зачем же он ходит за мной». Забыла, как муж бегал сумасшедший во хмелю с блескучей ножовкой в руке и кричал на домочадцев полушутя полусерьёзно: «Всем веселиться, пока я вам головы не отпилил». Всё плохое забыла, а вот как он пиджак на плечи накинул холодным вечером, чтобы она не озябла, – это она помнила всю жизнь и пиджак того до сего дня хранила.

Колючий ветер дул с прогивоположного берега в лицо и не понятно было, то ли он выдувал слёзы, то ли они сами катились по морщинистым щекам.

– А дети, что дети? – разговаривала она, как с живым, – они давно уже взрослые, и у них самих уже дети, все при деле, а у тебя, Аркадий, уже и правнучка есть. Алёнкой зовут. Глазки синенькие.

Умерла баба Варя тихо, без хлопот, прилегла на кровать и как уснула.

ВЕЧЕР НА МЁРТВОМ МОРЕ

Вечер на Мёртвое море нисходит библейский,
Прячется солнце за линию гор Иудейских,
Напоминающих плоский резной силуэт.
И облака, что окрасились в розовый цвет,
Как колдуны, навевают волшебные сны.
Тихо из пены всплывает обличье луны,
Густо присыпано солью морскою оно,
Тайн нераскрытых и скрытых навеки полно.
Краски, меняясь, ещё продолжают игру,
Переплавливая мерцающий блеск в мишуру.
Море темнеет. Ласкает купальщиков душ.
Берег пустеет. В воде только несколько душ.
Юной Венеры доносится крик из глубин:
– Мамочка! Ой! Я лежу на воде, как дельфин!
Кто-то балуясь на волнах солёных лежит...
Мёртвое море, а дьявольски хочется жить.

* * *

Когда звучит таинственный иврит
И души к откровению готовы,
Сдаётся мне, что с нами говорит
Загадочный всевластный Иегова.

Серебряным подобием руки
По строкам свитка кантор пробегает.
Напевное звучание строки
Из века в век хранит седой пергамент.

В нём мудрость вековечная живёт
И опыты давно ушедших предков,
А по миру рассеянный народ
Несёт свой крест – божественную метку.

* * *

Два крыла, два крыла –
Мир открыт для полёта.
И дорога легла
К беспредельным высотам.
На Земле купола,
Терема и палаты,
Всё хвала да хула –
Места нет для крылатых.

Мир нелепых чудес,
Непридуманных сказок
С необъятных небес
Не окинуть их глазом.

Я ушел бы в полет,
если не был бы сломлен;
В паутине тенёт
Что-то крылья свело мне.

ЧИТАЯ БАБЕЛЯ

Поход трубит трубач –
глухой раздался топот.
Бригада с места вскачь –
трясущимся галопом.
Грядущих дней рассвет
кровавился в тумане...
Людских судеб поэт
людскою болью ранен.
Он застил им глаза,
героям адских фабул...
Возврата нет назад –
уйдя, остался Бабель.

ПОСЛЕДНИЕ ОВАЦИИ

(прощание с И.В.Ильинским)

Панихиду служили в театре:
Приглушённый замедленный говор.
Домовины не видно – в цветах.
Шёл на сцене печальный спектакль
С многозначным названием «Прощай».
Как при жизни: с участием Артиста.
Он играет последнюю роль –
Без движений, без мимики, слов.
Всё всерьёз и взаправду – аншлаг.
Вдруг, как водится после финала,
В зале вспыхнули аплодисменты,
Неуместные на панихиде.
В тех неистовых рукоплесканьях,
Полных горечи, скорби, печали,
Благодарность, признание, любовь.

СНОП СТОП

(спондеи)

День – в тень сон – стон ночь – прочь
Мир – тир страх плах прячь плач
Стен плен склеп слеп глаз вяз
Лик дик вид – стыд тыл хил
Быль – в пыль быт злит
Душ глушь сплин – клин
Зов снов вновь кровь
Строк рок лов слов слог плох
Всё ж вхож дом дном зуд пут
Дух глух бром пьем стих тих
Вслух: ух! Весь здесь Бог строг сноп стоп

* * *

Вы знаете, куда исчезли звёзды?
Свод небес нахмурился слепой.
Час настал – явился вечер поздний,
Ясный день улёгся на покой.

...Ночь прошла, проснувшись на рассвете,
Бродят звёзды где-то по земле.
Разглядеть бы их при ярком свете –
Не искать бы в запредельной мгле.

* * *

Жаль мне всех ушедших и живущих,
Кто навек любовью обделён
И кому судьбою не отпущен
Этот сладкий, этот горький сон.

Всех мне жаль. И в сердце безутешном
Радость спит до нынешнего дня.
В нашей жизни – бурной и поспешной –
Пожалеет кто-нибудь меня?

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Говорят, не бывает чудес...
В эту ночь Он явился с небес.
Я, судьбой словно ветром гоним,
На коленях стоял перед Ним
И молил: – Осуждать не спеши!
Дай мне шанс для спасенья души
И мою седину пощади.
То, что было, уже позади,
Отлетело осенней листвою,
Затянулось травой-муравой...

— Замолчи, замолчи, скоморох!
осерчал несговорчивый Бог.
Слишком поздно раскаялся ты,
Раб ничтожной мирской суеты...
И исчез, словно вихрем взлетел.
Я ни слова сказать не успел.
Спohватился — вокруг ни души,
Только гул комариный в тиши.
За окном — огоньками свечи
Самолёт проплывает в ночи.
Покоритель земных скоростей,
Темпельхоф принимает гостей.

* * *

Мысли-птицы длинной вереницей —
По ухабам пройденных дорог:
Не изведаль, не достиг, не смог...
Понапрасну стоит ли томиться?

Говорим, не мудрствуя лукаво:
— Жизнь прожить — не поле перейти.
Разное случается в пути,
Но не повториться, не поправить.

Жизнь идёт лишь только до границы,
За которой песен нам не петь.
Если хочешь быть умнее впредь,
Постарайся вовремя родиться.

* * *

Осень жизни моей —
Дни сомнений и боли,
Годы вольной неволи
Средь берлинских аллей.

Осень жизни моей —
Ночи тонут в тумане,
Сердца бег неустанный
На дистанции дней.

Осень жизни моей
Знает цену и меру
И надежды, и веры,
И потери друзей.

Осень жизни моей —
Хоть старею с годами,
Но живу я мечтами,
И не стану мудрей.

ЕССЕ НОМО!

«...Бессмертие длится до тех пор, пока людей, которых уже нет с нами, помнят и любят».

Жозе Сарамаго

Как найти в Ровно улицу Клешканя, не каждый встречный скажет. Улица эта короткая, узкая, малоприметная. Время неутомимо и память людская избирательна, но воспоминания об этом человеке живы. Свидетельством тому, вот уже свыше двадцати лет, свежие букетики цветов на его могиле, и это при отсутствии в городе какой-либо родни. На бывшей окраине города когда-то находилась небольшая мельница и при ней складские помещения для хранения зерна и муки.

После захвата города немцами здесь разместился лагерь военнопленных. Их было много, места в лагере – мало. Изголодавшиеся, оборванные, промёрзшие пленные в основном дневали и ночевали под открытым небом. Кругом свирепствовал тиф – постоянный спутник человеческих бед. Врачей в городе оставались единицы. Оккупационные власти принялись искать их среди военнопленных.

Григорий Андреевич Клешкань, один из узников лагеря, в связи с этим был отпущен на свободу.

Не без некоторой подозрительности он был встречен сотрудниками городской больницы, когда истощённый, небритый, в ошметках армейского обмундирования возник перед ними и отрекомендовал себя хирургом. С первых дней его работы в больнице все сомнения исчезли: судьба подарила городу первоклассного специалиста. Работа его в городе была нелёгкой.

Хирургов не хватало. Больные поступали днём и ночью. Бинтов и медикаментов было крайне мало. Инструментарий – древний. В больнице зачастую не бывало света, операции шли при керосиновых лампах. Больные приносили с собой постель и продукты питания, даже дрова.

Власти назначили Григория Андреевича главным врачом города. Любая административная должность в силу особенностей характера была ему в тягость, но отказаться он не посмел.

Сразу же после освобождения города врач оказался в тюрьме. Ещё бы «явный пособник оккупантов, чиновник оккупационной администрации». Дело приобретало серьёзный оборот, тон следователя на допросах становился всё более грозным, обвинения всё весомее. Оказаться бы ему где-нибудь на Колыме, если бы об аресте не узнали партизаны отряда Медведева.

Выяснилось, что в годы оккупации он был связан с партизанским отрядом, снабжал его медикаментами и бинтами, его квартира иногда служила явкой, что он изготавливал всякие фиктивные справки, тайно лечил партизан. Благодаря ему многие избежали принудительной отправки

в Германию. Кто-то из партизан пошутил, что освобождение Клешканя из советской тюрьмы было последней и весьма удачной операцией их отряда. Хирургов в первые послевоенные годы в городе и области было мало, да и те не обладали должным умением.

Григорий Андреевич стал главным хирургом. Внешностью он обладал приметной – крупные, выразительные черты лица и несколько великоватый, даже по отношению к этим крупным чертам, нос. Как-то маленькая девчушка в больничном коридоре, видимо, из-за приметного носа с детской непосредственностью заявила: «Дядя, вас всегда в «Крокодиле» рисуют». На его лице светилось радушие, внимание к собеседнику, доброта. Речь и походка торопливы, он вечно спешил. При этом никто не умел столь терпеливо выслушать подробный рассказ излишне нервной особы о её позапрошлогоднем приступе колик. Его невозможно было представить себе при «бабочке», галстук, и тот всегда норовил у него спрятаться узлом под ворот рубашки. В нём сочеталось добродушие с высокой эрудицией и интеллигентностью.

В первые послевоенные годы он успевал за день облететь на санитарном двухместном «У-2» несколько районов – прооперировать или проконсультировать. Когда в больнице отдалённого района у постели больного создавалось безвыходное положение, местные врачи молили Бога о лёгкой погоде, об остальном позаботится уже Григорий Андреевич.

У него выздоравливали, казалось бы, обречённые пациенты. Некоторые из них даже не догадывались об их спасителе. Иногда он вмешивался в идущую уже операцию, чтобы благополучно её завершить и исчезнуть до того, как больной проснётся от наркоза. Лётчики знали его хорошо и особо опекали. Один из них как-то сказал: «Когда везёшь Клешканя то кажется, если бы мог, облетал бы стороной «воздушные ямы». Ему не ставили в вину и то, что почти каждый раз приходилось лётчику бежать за ним вдогонку, чтобы вручить забытый им портфель или шляпу. Как-то один из пилотов попытался даже использовать самолёт как легковой автомобиль и подвезти его по лугу к самому порогу больницы. Пришлось потом трактором вытаскивать самолёт из канавы. Рассеянность Клешканя была поводом для шуток и осталась в преданиях. Уходя с работы, он часто забывал снять врачебный чепчик, а марлевая повязка болталась у него на шее. На автобусной остановке он недоумевал, почему это на него косятся окружающие.

Прооперировав больного на выезде, в районной больнице, он бежал к самолёту, лётчик которого изрядно нервничал, успеют ли они слетать в другую больницу до захода солнца. Уже сидя в кабине самолёта, Клешкань, пытаясь перекричать шум вращающегося винта, напоминал провожающим его врачам: «Не забудьте завтра больному сменить дренаж!».

Запомнились его оговорки на заседаниях и совещаниях. Однажды на каком-то торжестве он заявил следующее: «Собравшихся здесь хирургов, несмотря на их молодость, можно уже смело называть ветеринарами». Имелись ввиду, конечно, «ветераны». Его рассеянность кончалась у порога операционной. Там это был уже прекрасный мастер с

прагматическим умом и лёгкой рукой. Казалось, что оперировал Григорий Андреевич неторопливо, но когда операция заканчивалась, оказывалось, что времени на неё ушло совсем мало. Впрочем, редко оперировал он сам. Часто он поручал операцию молодому хирургу, активно ему ассистируя, что называется, «держа его за руку». Диапазон операций, которым он владел, мог быть предметом зависти любой клиники. Невозможно было себе представить, где овладел он всем этим мастерством. До войны он успел недолго поработать в глубинке на Житомирщине, затем война, плен и работа во время оккупации. Какие уж тут курсы по усовершенствованию или стажировке в столице. Он умело выполнял, кроме сложнейших общехирургических операций, ещё и операции ортопедические, нейрохирургические и гинекологические.

Прошли годы, но до сих пор многие хирурги – это его ученики или ученики учеников, как бы его «внучатые ученики».

Он умел безошибочно находить среди выпускников вузов людей, одержимых хирургией. Говорил, что тот, кто выбрал хирургию, должен быть однолюбом и оставаться ей верным до конца. Шутил, наставляя молодого хирурга: «Стоя за операционным столом, думайте о том, как приятно будет этого пациента когда-нибудь ещё живым встретить на улице». Учил он больше примером, а не сентенциями. Если он отчитывал провинившегося подчинённого, то это походило больше на утешение, чем на разнос. В его семье воспитывались две удочерённые им девочки. Обе получили высшее образование, и обе оказались далеко, когда он стал уже стар и одинок. В первые послевоенные годы, прилетая в отдалённый район, он привозил тамошним врачам в своём портфеле булочки. В районах тогда их не выпекали. Привозил также конфеты для детишек врачей.

Не без его помощи многие его ученики стали кандидатами и докторами наук. Он обязательно присутствовал при защите ими диссертаций, где бы они ни состоялись. Сам он так и не «защитился», всё некогда было. Долго его заслуги не получали официальной оценки. Потом, под конец своей деятельности он стал «Заслуженным врачом республики», на него посыпались ордена и медали, которые он очень редко носил, и то не на должном лацкане.

И в семьдесят лет Григорий Андреевич прекрасно оперировал, но делал это всё реже, доверяя своим многочисленным ученикам, многие из них оказались весьма талантливыми. Он сравнительно рано оставил должность главного хирурга. Вероятно, накопилась усталость.

«Балерине и хирургу нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены», – заявлял он, и вообще:

«Нужно уходить от дел прежде, чем дела начнут уходить от тебя».

«Трёх вещей ни в коем случае нельзя прощать хирургу: невнимательности, заносчивости и неостановленного послеоперационного кровотечения», – говорил он. Судьба распорядилась так, что он умер от неостановленного послеоперационного кровотечения, будучи прооперированным в институтской клинике одного из крупных городов. Видимо, хирург там оказался слишком заносчивым для того, чтобы быть ещё и внимательным.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ

Москалёвка пятидесятых, любимый милый край! Райский уголок посреди индустриального Харькова, одетого в сизые лохмотья заводских дымов! Улица четырёх евреев: «Сёма-Марка, Моська-Лёвка!», как шутили записные харьковские остряки. «А при чём тут Сёма-Марка?» – может поинтересоваться несведущий человек из какого-нибудь Крыжополя, Монреалья или Сан-Франциско. А при том! По Москалёвке проходил трамвай седьмого маршрута, что на местном диалекте звучит как «сёма марка»! Грохочущая по серебряной глади рельсов, с сияющими поручнями и высокими подножками, с которых можно радостно сигануть от приближающейся кондукторши на полном ходу! И затем прошвырнуться пешком – мимо кинотеатра «Жовтень», мимо шербатых ступенек булочной, взглянуть на своё отражение в стеклянной витрине библиотеки им. Некрасова! А в этом отражении, между прочим, тебе нет ещё и двенадцати! Да что там двенадцати! Ни тридцати, ни сорока, ни сорока пяти нет тебе ещё в этом огромном прозрачном стекле, в которое ты вечно заглядывал по пути в школу или к Ларке Карповской! И профланировать дальше, – мимо аптеки, через Марьинскую – по Красношкольной Набережной, вдоль речки Лопань, мимо Рыбного базара, вдыхая неповторимый болотный аромат Лопанского ила. Галантерейный магазин «Свет шахтёра», в котором сладко задыхаешься от запаха парфюмерии среди крепдешина и белоснежного дамского белья, словно в цепких объятиях пышногрудой дамочки, улыбающейся тебе с витража над кассой! Шестая поликлиника, не отстроенная ещё после минувшей войны. Тёплая газировка в киоске напротив. С сиропом – сорок копеек, без сиропа – пять. Над градуированной колбой с розоватым «вишнёвым» сиропом вьются жёлтые жирные осы.

Продавщица ополаскивает гранёный стакан, подносит к колбе, наливает несколько капель сладкой жидкости, а затем подставляет под кран газводы. Струя бьёт в дно стакана, это шторм в океане, буря в пустыне, бунт на корабле, это «меньше пены!» и «Муля, не нервируй меня!»...

– Вадыцка, вадыцка с вишнёвым цылопом! – зазывает торговка улыбающихся прохожих.

Она не выговаривает половину букв русского алфавита.

– Мадам, а можно без сиропа?

– Цыстой нету! Вадыцка с цыропом!

Магазин Рыбтреста, насквозь пропитанный приторным запахом только что оттаявшей трески!

Первомайская демонстрация, празднично одетые люди, шурящаяся на солнце толпа, вываливающаяся из кинотеатра «Жовтень» после дневного сеанса...

Жили мы недалеко от «Жовтня», в развалюхе, по адресу: Владимир-

ская, дом № 8а. Улица наша более походила на деревенскую. На травке вдоль грунтовки паслись бородатые козочки, привязанные к деревьям бельевыми верёвками с множеством больших и маленьких узелков.

Тут же переминались с ноги на ногу набожные соседские куры. Они со всей дури били поклоны во влажный песок, жадно склёвывая лакомые крохи из свежих помоев, выливаемых прямо на дорогу. Куры шарахались в стороны от нахальных щёголей-гусей, расхаживающих шумными кодлами. Ещё не срезал народ яблони, чтобы не иметь неприятностей от фининспекторов, ещё жирели в соседских сарайчиках увальни-кабаны. И всё это цвело, румянилось, похрюкивало и покукарекивало в пяти минутах езды от центра...

Знаменитый на всю Владимирскую подковыршик, мамин папа – дедушка Яша, узнав, что мой отец собирается снять дачу в деревне, улыбнулся и сказал: «Зачем тратить деньги? Никуда не езжай, отключи себе свет, вывали под окно подводу навоза за пятёрку, и будет тебе дача».

Воду мы носили из колонки, с Грековской улицы, – это было почти рядом – в двух кварталах от нас. В сенях стоял фанерный стол, застеленный выцветшей клеёнкой, на нём – блестящий медный примус и два ведра с водой. В самом углу висело бабушкино резное коромысло. На примусе кипел суп, пахнувший петрушкой пополам с керосином. Бабушка умела носить ведра на коромысле. Она считала это умение даром свыше и очень им гордилась. Папа, мама, дедушка и я обращаться с коромыслом не могли и носили ведра «вручную», без каких-либо приспособлений.

Зато за керосином никуда не надо было ходить. Раз в неделю приезжал керосинщик. Он вёз на подводе испачканную мазутом, примятую в нескольких местах чёрную цистерну и дудел в свою керосиновую дуду. Соседи вываливали из калиток, позванивая пустыми бидонами, керосинщик презрительно орал своей лошади «Тпрррууу!» и останавливался, где хотел.

Потом слазил с козел и доставал черпак с длинной ручкой, обмотанной красной изолентой. У цистерны выстраивалась очередь. Отпуск керосина начинался.

Это было очень удобно. В противном случае пришлось бы носить керосин с Рыбного базара.

Печку топили дровами и углем. Циркулировал слух, будто на Москалёвку должны пустить газовую магистраль. А пока суть да дело, кругом окапывались враги. Проникали они и в правительство. Совсем недавно был расстрелян английский шпион Лаврентий Павлович Берия.

Я ходил под впечатлением от книжек Аркадия Гайдара «Военная тайна» и «Судьба барабанщика». Старик Яков, дядя-шпион, похищенные им секретные чертежи будоражили воображение.

Вскоре я заметил, что отец прячет в ящике письменного стола какой-то чертёж. Подозрительным было и то, что о чертеже он никому не говорил, а ящик стола всегда запирали.

Я решил поинтересоваться. Письменный стол стоял в одной комнате с моим диваном. Ключ от ящика отец хранил в спальне, в старой коробке

из-под шпрот в мамином трельяже.

Ночью я встал, подождал, чтобы глаза привыкли к темноте, и потихоньку прокрался в спальню родителей. Сладко похрапывал отец, мама дышала беззвучно, как ангелок. Я приоткрыл дверцу трельяжа, и вдруг оттуда на меня со страшным грохотом обрушилась коробка с домино. Я сжался в комок. Отец тут же открыл глаза, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Мама продолжала спать. Я тихонько сложил домино и взял ключ...

В папином ящике хранились какие-то электронные лампы – вроде запчастей для радиопередатчика, разобранный фотоаппарат, увеличительное стекло и кусок медной проволоки, служившей, как я подумал, передающей антенной. Чертёж лежал под старой спичечной коробкой с крошечными винтиками и гаечками. Это был план Харькова с подробнейшей схемой газовых коммуникаций и перспективой их расширения в шестой пятилетке. Пользуясь этой схемой, можно было, очевидно, поднять на воздух все важнейшие объекты народнохозяйственного значения: тракторный завод, электроламповый, плиточный, шарикоподшипниковый, о которых много рассказывали в школе. Рядом были приведены цифры развития народного хозяйства страны. По ним враг мог без труда разгадать наши военные тайны. Я смотрел на чертёж и плакал. Вот уж не думал, что отец работает на военную разведку!

Мой плач разбудил родителей. Они тут же пришли. Слёзы капали на секретную схему, сонная мама ничего не могла понять. Отец понял всё. Сразу.

«Генка, ты только не подумай, что я шпион...» – испуганно начал оправдываться он. Я разревелся ещё сильнее. Тогда отец стал просить меня – даже стыдно сказать о чём. Он умолял ни одной живой душе об этой схеме не рассказывать. Клялся своим здоровьем, что чертёж вовсе не секретный, что вырезал его из газеты «Красное Знамя» и что это – план газификации Харькова. Из плана видно, когда будет подведен газ к нашему району. И тогда я забуду запах керосина в сенах и не нужно будет рубить дрова и завозить каждый год уголь, и у нас будет газовая плита, как у людей, а там, глядишь, и воду проведём прямо во двор!

Но – не дай бог кому-то об этом сказать, и он хранит чертёж, потому что с нашей семьи хватит, и мой любимый шутник дедушка Яша уже отсидел шесть лет по подозрению в шпионаже и ему чудом удалось вырваться из их лап. И что Там разбираться не будут. И не дай Бог попасть кому-нибудь в их мясорубку!

...Первой мыслью было – бежать в Уличный Комитет. Но отец родился под счастливой звездой.

Я смалодушничал и наступил на горло собственной песне. Родители пошли досыпать. А я никуда не пошёл и до самого утра размазывал солёные слёзы по щекам.

Вся эта история с газификацией, перепуганный униженный отец, слёзы, подступающие к горлу – есть продолжение великого плана ГОЭЛРО – гениальной Ленинской идеи электрификации всей страны.

ШМА ИСРАЭЛЬ!

«Шма Исраэль! Израиль, слушай!»
Наш Бог – Единый, Бог – один.
Над морем он царит и сушей,
Вплоть до космических глубин.

Он выбрал нас из всех народов,
Чтобы служили мы Ему,
Чтоб от восхода до захода
Молитвой разгоняли тьму.

Он заключил Завет суровый,
Чтоб соблюдали мы Закон,
Чтобы несли мы миру Слово,
Которое поведал Он.

Быть впереди Он дал нам право
В тот час, когда на казнь ведут,
Когда в сумятице кровавой
Вражда вершит неправый суд.

Он дал нам край обетованный,
Потом забрал и вновь вернул,
Но по рассеянности странной
Он дёготь в этот мёд плеснул.

«Шма Исраэль! Израиль, слушай!»
Опять беда пришла в твой дом
И разрывает слух и душу
Бесчеловечных взрывов гром.

И вновь безумные шахиды,
Взрывчаткой пояса набив,
Терзают край царя Давида,
Иерусалим и Тель-Авив.

И снова в муках гибнут дети
И рвётся плоть и льётся кровь,
И страшные страдания эти
Должны мы видеть вновь и вновь.

И тут бессмысленны уступки
И мало толку от стрельбы,

И мир не обеспечат хрупкий
Нам ни угрозы, ни мольбы.

Я не политик и не Бог;
Не знаю, как решить задачу,
И в море горя и тревог
Я только плачу, горько плачу.

Молиться не умею Богу,
Но, веруя в святую цель,
Прошу я: Помогни немного!
Мы – Твой народ! Шма Исраэль!

ХАНУКА

Не бойся, что не хватит масла,
Чтоб осветить наш вечный храм.
Лишь только б вера не угасла,
А масла – Бог добавит нам.

И в храме, предками воспетом,
Огонь свечей ханукии
Благословит небесным светом
Глаза усталые твои.

ОКОЛЕСИЦА

За борами и за заборами
Поезда проносятся скорые.
Всё сверкает, бежит и движется,
На незримую нитку нижется.
Всё звучит, звенит, произносится
Разноцветной многоголосицей.
Эти нити в канаты свиваются,
Эти звуки в кантаты сливаются,
И возносится в небо лестница –
Улетевших лет околесица.

СОЛО НА КОНТРАБАСЕ

На свой насест контрабасист
Взобрался неуклюжей птицей.
Над инструментом он навис
И трёт его смычком-скребницей.

Косноязычный контрабас
Гудит натужно и бормочет.

Он в чём-то убеждает нас
И что-то рассказать нам хочет.

Порой старательный смычок
Добьётся мелодичной фразы,
Но как охрипший старичок
Устало умолкает сразу.

Вот пальцы, овладев игрой,
Бегут по струнным перекатам,
И возникает ритма строй
В раскатах гулких пищикато.

Как тяжело, преодолев
Материи тугую косность,
Вложить в мерцающий напев
Души шемящую нервозность.

СИРЕНЬ

Отцветает сирень. Пожелтевшие гроздья
На зелёных кустах словно тряпки висят.
Увяданье и смерть, две незванные гостьи
Этой ночью бесшумно прошли через сад.

Пролетела весна. Скоро жаркое лето
Разбросает повсюду другие цветы.
...Жаль сирени. В прекрасную пору расцвета
Нам дарила она свет своей красоты.

УТРО

Светлеет небо. На востоке
Порозовели облака.
Не виден звёздный свет далёкий,
Роса рассветная легка.

И лишь одна звезда упорно
Не хочет гаснуть в свете дня,
И эта искра ночи чёрной
Напоминает мне меня.

Мне тоже хочется продлить
Свой свет для тех, кому я дорог.
Быть как связующая нить
Для тех, кто прозорлив и зорок.

Грядущий день наполнен светом,
Как не исчезнуть в свете этом!

ВЕЧЕР

Садилось солнце за дома,
С востока напоздали тучи,
И ключев серых бахрома
Свивалась словно гад ползучий.

Полупрозрачная луна
Повисла криво над собором,
И в подворотнях темнота
Полночным притаилась вором.

Она, пускаясь на обман,
Неслышно выйдет из засады
И в свой невидимый карман
Запрячет стены и фасады.

Настанет ночь. Заботы дня
Отпустят наконец меня.

* * *

Секундная стрелка – по кругу рывками,
Минутная стрелка – почти незаметно.
Ташу, как Сизиф, я на гору свой камень,
Надеясь добраться до цели заветной.

А Время – уходит. Точней – мы уходим,
А время застыло стоячей волною.
Движение Время рождает в природе.
Что было со всеми, то будет со мною.

Но хочется верить, что там, у обрыва,
Я камень свой сброшу и взмою, как птица,
Пространство и Время отброшу, счастливый,
И сбудется сказка, и чудо свершится.

ПУБЛИЦИСТИКА ЭССЕИСТИКА

Карл Абрагам
Леонид Бердичевский
Игорь Гуревич
Генриетта Ляховицкая
Марк Шейнбаум
Алесь Эротич
Альфред Ходорковский

УРОКИ БАБЕЛЯ

Сейчас пишут все. Не пишут лишь те, кого в школе писать не научили. Пишут по-разному: хорошо, плохо и очень плохо. Как надо писать, не знает никто. Опытный литератор может сказать, как не надо писать, в лучшем случае – рассказать о работе над словом и о своей манере письма.

Передо мной «Воспоминания о Бабеле» – горький мартиролог о нелёгкой судьбе одного из наиболее ярких русских писателей первой половины XX века. Книга издана в 1989 году в Москве издательством «Книжная палата». Друзья, близкие, знакомые, в основном писатели и журналисты, рассказывают о своих встречах с Бабелем, о его жизни, о его привязанностях и привычках, о творческих особенностях писателя и о длившемся годами периоде глухого молчания автора. Писать так, как он раньше писал, он не хотел, а по-другому – не мог.

«Воспоминания» легли в основу настоящей статьи. Кроме этого, я воспользовался отдельными замечаниями И.Бабеля о литературном мастерстве, которые можно найти в некоторых его рассказах.

Один из начинающих в двадцатые годы литераторов В. Финк как-то пожаловался Бабелю: «Как только соберусь писать, перо начинает весить пуд, невозможно водить им по бумаге». На что писатель ответил: «Это нормально; если только перо настоящее, оно всегда весит пуд и водить им по бумаге всегда трудно». Тамара Иванова (жена Вс.Иванова) вспоминает: «Писал Исаак Эммануилович трудно, я бы даже сказала страдальчески. Был совершенно беспощаден к самому себе. Его никак не могло удовлетворить что-либо приблизительное. Он упорно искал нужное слово». Бабель, как известно, 22 раза переписывал рассказ «Любка Казак». Показывая Паустовскому папку с рукописью, автор заметил: «Я ещё не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется его можно ещё сжать. Ясность и сила языка совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из неё уже нельзя больше ничего выбросить». И далее Бабель рассказывает Паустовскому, как он работает над текстом. В начале он пишет рассказ вчерне. Затем выбрасывает из него «мусор». При этом, говорит Бабель, нужен «острый взгляд, потому что язык ловко прячет свой мусор». После выпалывания «лебеды, крапивы» и прочих сорняков писатель проверяет свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. «Если нет точного сравнения, – говорит Бабель, – то лучше не брать никакого. Пусть существительное живёт само по себе в своей простоте». После этого Бабель разбивает текст на лёгкие

фразы. «Каждая фраза – одна мысль, один образ, не больше. Не бойтесь точек». Всем известно его выражение, ставшее хрестоматийным: «Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя». Затем автор приступает к изгнанию из текста почти всех причастий и деепричастий, оставляя при этом лишь самые необходимые. «Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Три причастия в одной фразе – это убийство языка. Деепричастие всё же легче. Но злоупотребление им делает язык бескостным. Существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений». Заканчивая, Бабель говорит о важности абзаца. Выделение абзаца в нужном месте способствует максимальному воздействию текста на читателя. «Абзац, – отмечает Бабель, – позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде». Повествование, считал писатель, не должно уходить в сторону от основной темы. «Линия в прозе, – говорил он Паустовскому, – должна быть проведена твёрдо и чисто, как на гравюре». Или: «Не уводите рассказ в боковые улицы, даже если на них цветёт акация и поспевают каштаны», – читаем мы в рассказе И. Бабеля «Справедливость в скобках». Придерживаясь всех этих рекомендаций, писатель должен зорко следить за тем, чтобы не «умертвить» текст. И это, пожалуй, самое трудное в этом процессе.

Бабель, как известно, был мастером короткого рассказа. Его сочный цветистый язык где-то сродни ярким полотнам импрессионистов. На этом сходство Бабеля с манерой письма художников этой школы, пожалуй, заканчивается, а если быть более точным, то выписывание отдельных деталей быта, одежды, лиц, столь характерных для Бабеля, для импрессионистов вовсе не типично. Детализацию в рассказах писателя можно сравнить, разве что с офортами Гойи, творчеством которого он восторгался.

Есть у Бабеля небольшая новелла, которая называется «Вдохновение». Рассказ ведётся от первого лица. Поздним вечером, когда хозяин квартиры – сам начинающий писатель – собирался ложиться спать, к нему приходит давний знакомый в подпитии с настойчивой просьбой выслушать новую повесть, которую он только что закончил. С большим неудовольствием хозяин соглашается выслушать гостя. «Повесть, – пишет Бабель, – была бездарна и скучна. Конторщик влюбился в балерину и шатался под её окнами. Она уехала. Конторщику стало больно, потому что его мечта любви была обманута. Скоро я бросил слушать. Слова в этой повести были скучные, старые, гладкие, как обтёсанные деревянные. Ничего не было видно – каков человек конторщик, какова она». Сам Бабель мог при известных обстоятельствах и в «обтёсанной деревяшке» разглядеть нечто одушевлённое. «У меня нет воображения, – часто

повторял он. Я не умею выдумывать. Я должен знать всё до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. Я работаю как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями». Но вернёмся к новелле Бабеля. Всё правильно. Чтобы написать, создать, сочинить, нужно чтобы на автора снизошло вдохновение. Однако, чтобы произведение состоялось, одного вдохновения мало. В беседе с тогда ещё молодой Татьяной Тэсс Исаак Эммануилович заметил: «Вдохновение с одинаковой силой может испытывать и великий писатель и посредственный беллетрист. А вот результаты вдохновения у них совершенно разные».

Оценивая собственную манеру письма, он говорил: «Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка». Это высказывание писателя следует, мне кажется, воспринимать с известной долей иронии, т.к. у Бабеля наряду с короткими фразами встречаются и довольно сложные конструкции.

С дидактической точки зрения статьи К.Паустовского, журналиста М. Зорина и писателя Г. Маркова в книге «Воспоминаний» представляют наибольший интерес.

Михаил Зорин рассказывает о Вседонецком слёте молодых писателей. Как водится, после пленарных заседаний были организованы семинары. На одном из них выступил И. Бабель.

«Город накрыли тёмной чадрой...» – читает Бабель. «Почему вы не написали: «Была тёмная ночь?»».

«Так может написать каждый», – бросает кто-то смущённо.

«Ну и что же?» – Бабель пожимает плечами. «Пушкин пишет в «Дубровском»: «Луна сияла, июльская ночь была тиха...». Чехов ещё точнее: «Было двенадцать часов ночи». Не нагромождайте красивостей. Красивость всегда фальшива. В вашем рассказе нет деталей. Я не вижу, как одет ваш герой, не вижу его движений, не вижу комнаты, в которой он сидит. Начало рассказа состоит у вас из общих слов. Чехов так начинает своих «Мужиков»: «Лакей при московской гостинице «Славянский базар» Николай Чикильдеев заболел». Вчитайтесь, какая точность и ясность. В короткой, до предела лаконичной фразе жизнь человека. Мы узнаём его имя, фамилию, работу, место жительства, название гостиницы и состояние здоровья. На вопрос Антонины Николаевны Пирожковой (жены писателя), почему он пишет свои рассказы от первого лица, Бабель ответил: «Так рассказы получаются короче, не надо описывать, кто такой рассказчик, какая у него внешность, какая у него история, как он одет». Это не анекдот, ибо упрекнуть писателя в лености никак нельзя.

Это от того, что обходился он со словом расчётливо и экономно.

Бабель был одним из тех, кто прочёл первые главы романа Г. Маркова «Строговы» ещё в рукописи. Пригласив будущего романиста к себе домой, Бабель немного похвалил автора, а затем сделал по рукописи целый ряд замечаний. Суть их сводилась к тому, что писатель должен говорить своим голосом, а не заимствовать слова из чужого лексикона. Пользование чужеродными словами нарушает фактуру текста и, таким образом, снижает уровень повествования. Привожу несколько выдержек из воспоминаний Г. Маркова.

«Поговорим теперь о рукописи, точнее — о языке, — сказал Бабель, беря рукопись. Ваш язык прост, точен, но, к сожалению, не везде. Вы ещё не всегда умеете говорить своим словом. Вот примеры.

Вы пишете: «Анна вернулась с покрасневшими глазами». Это хорошо и просто. Но вот дальше: «Прикладываясь к чудотворной иконе, она поддалась царившему возле неё экстазу и всплакнула». Экстазу? Это слово не только не ваше, оно враждебно вашей манере.

Или вот ещё: «Матвей отвечал не торопясь. Приятно было чувствовать себя в центре непрямой внимания этих людей». В центре напряжённого! Это же не ваше. Это написано с чужого голоса.

Ещё пример того, как вы портите фразу: «Агафья нажарила рыбу на сковородке, и дед Фишка, радуясь тому, что всё в эту ночь произошло так, как ему хотелось, ел жаренных чебаков с редкостным наслаждением». Редкостное наслаждение — из чужой песни».

Ничто не ускользнуло от опытного мастера; и в этот раз он останавливается на необходимости детализации отдельных предметов. Бабель цитирует: «Резвой рысью жеребчик подвозил её к селу. Он точно понимал, чего от него хотела хозяйка, и, колесом выгнув шею, красиво перебирал ногами». Ну что значит красиво? Для читателя это пустой звук. Раскройте это «красиво» в какой-то подробности».

В заключение хочу привести некоторые рекомендации Бабея, обращённые им к участникам вечера в Союзе писателей: «Когда рассказ готов, не бегите поделиться великой радостью: разродился. Рассказ должен отлежаться, и читать его надо со свежими чувствами». Новый рассказ желательно читать «только очень умной женщине», потому что некоторые из них, по его мнению, обладают абсолютным вкусом, как некоторые люди обладают абсолютным слухом. Чем это иногда заканчивается, мы с вами хорошо знаем из рассказа Бабея «Гюи де Мопассан»: «Парень с девкой — музыки не надо».

ЛИЛИЕН

Заметки о художнике

Как-то, очень давно, загнанный сильным осенним дождём в букинистический магазин, я познакомился с Лилиеном.

На прилавке лежала редчайшая (в чём я смог убедиться позднее) книга, изданная в неизвестном мне городе Госларе в 1900 году. Она привлекла моё внимание необычным названием «Juda».

Полистав книгу, я увидел иллюстрации, которые так и остались в моей памяти навсегда. Возвратившись к титульному листу, я узнал имя художника – Лилиен.

Я стал повсюду искать книги с его иллюстрациями или хотя бы какое-нибудь упоминание о нём, но всё было напрасно...

Уже живя в Берлине, я просмотрел много библиотечных каталогов, энциклопедических словарей, общих трудов по истории искусств и мне, наконец, удалось узнать некоторые подробности его жизни и творчества, увидеть репродукции его работ.

Итак, Лилиен был ярчайшим представителем немецкого «Jugendstil», расцвет которого пришёлся на начало XX века. Стиль этот был откровенным преемником модерна и, в первую очередь, его апологета, гениального юноши – Обри Винцента Бердслея. «Jugendstil» несколько модифицировал приёмы и находки модерна, но более обобщённо строил композиции, менее детализировал атрибутику, уделяя особое внимание основной части.

Первыми художниками, принявшими модерн за основу своего творчества, мне видится группа «Ворпсведе» и особенно её основной мастер, Генрих Фогелер. Он едва ли не первым в Германии XX века обратился в оформлении книг к шрифтовому набору, всевозможным акцидентным украшениям, заключал полосные иллюстрации в рамки, обращаясь к растительному и геометрическому орнаменту. Думается, что именно Фогелер был Лилиену ближе и интереснее других. Об этом говорит чистота лилиеновских линейных изображений, поражающих точностью и чёткостью найденных образов, именно путём отбора необходимого, создания ритма, без излишнего нагромождения заштрихованных плоскостей. Почти всегда в чёрно-белом рисунке он добивался цветности за счёт корпусной заливки пятен, необходимой для выявления основных деталей всей композиции.

Таким образом, белый лист служил не только фоном, но и дополнительным цветом. Лилиен также заключает свои иллюстрации в рамки или подчёркивает их орнаментальным пояском, что придаёт композиции законченность и собранность.

Главная заслуга художника не только в этом. Его своевременный приход в искусство состоялся в период подъёма еврейского национального самосознания в странах Европы.

Крупнейший религиозный мыслитель, теоретик сионизма, близкий друг

Лилиена Мартин Бубер назовёт этот период Еврейским Возрождением, развивающимся в тесном переплетении с расцветом сионистской культуры.

Книга «Juda» – сборник еврейских баллад. Несмотря на то, что её автор, Б.Мюнхаузен, по своим взглядам был полной противоположностью художнику (и позднее, в 30-х годах он примкнул к национал-социализму), книга эта была попыткой интегрировать библейский материал в поэтический, художественный и культурологический, понятный даже неподготовленному современному читателю. Первостепенную роль в этом сыграли иллюстрации Лилиена. Это же подтверждается и изданной в 1902 году книгой с большой подборкой лилиеновских иллюстраций «Lieder des Ghetto». В ней окончательно утверждается стиль художника. Теперь его рисунки становятся безошибочно узнаваемыми.

Эфраим Мозес Лилиен родился 23 мая 1874 года в Дрогобыче, в Галиции. Половину его населения составляли евреи. К этому времени там действовали сионистские организации «Кадима» и «Агават-Сион», которые, наверняка, повлияли на формирование взглядов Лилиена на историю и культуру еврейского народа в странах рассеяния.

Эфраим был старшим сыном резчика по дереву. Детство его прошло в семье среднего достатка. Однако рано проявившиеся способности к рисованию и очевидная одарённость помогли ему с помощью местных меценатов поступить в Краковскую академию искусств. Здесь он учился в классе известного польского исторического живописца Яна Матейко. Через два года он возвратился в Дрогобыч из-за материального затруднения, но всё же в 1892 году им была получена поощрительная поездка в Вену, где в то время получила всемирное признание группа «Сецессион», связанная с модерном. Художники этой группы – Г.Климт, Э.Шилле, О.Кокошка и другие вскоре займут одно из ведущих мест в истории изобразительного искусства XX века. Они были близки Лилиену и их уроки навсегда остались осязаемыми в его творчестве.

С 1894 по 1899 годы он жил и работал в Мюнхене. Здесь укрепились его связи с сионистской организацией, для которой он выполнил листовки и плакаты агитационного характера для распространения их среди еврейской молодёжи. Он постоянно сотрудничал с издательством «Вперёд». Следует сказать что переехав в Берлин в 1900 году он продолжал быть активным членом сионистского движения, дружил с Теодором Гершлем, Максом Нордау, Мартином Бубером. Однако Лилиен был далёк от еврейского ортодоксального жизненного уклада. Берлинский мир богемы составлял для него особую привлекательность. Он посещал литературное общество «Die Kommenden», которое собиралось по четвергам в кафе на Ноллендорфплац. Возглавлял его сперва известный поэт и теоретик Людвиг Якововски, а после его ранней смерти поэт Петер Хилле и антропософ Рудольф Штайнер. Это кафе посещали Эльзе Ласкер-Шулер, Эрих Мюсам, Стефан Цвейг, Кэте Кольвиц, впоследствии получившие мировое признание. С.Цвейга и Лилиена связывала многолетняя душевная дружба, а частые беседы о современной жизни и искусстве взаимно обогащали их творчество. Влияние художника нашло отражение и в поэзии

Ласкер-Шулер, посвятившей ему несколько дружеских стихотворений. В этот период художник проиллюстрировал книгу эротических стихотворений забытой ныне поэтессы Деларозы, проявив себя в них талантливым и своеобразным мастером изображения обнажённой натуры.

С 1902 года он сотрудничал с журналом «Die Welt», в котором регулярно появлялись его рисунки, выполнил обложки к книгам «Ost und West», «Occultismus und Liebe», «Sechs Sonette aus Animal Triste» и другим. Вместе с Бубером он был участником и инициатором первой выставки еврейских художников, приуроченной к сионистскому конгрессу в Базеле.

Эта выставка представила посетителям и знатокам искусства новые имена мастеров, которые позднее займут достойное место в ряду крупнейших еврейских художников – Йегуды Эпштейна, Иосифа Израэля, Лессера Ури, Изидора Кауфманна, Самуила Ниршенберга и других. Лилиен вместе с Борисом Шатцем основал в Иерусалиме школу искусств «Бецалель» (существующую и ныне), предпринял несколько поездок на Святую землю. Из них он привозил, выполненную там живопись, рисунки и фотографии, которые явились бесценным документом современной ему эпохи. Вместе с Бубером и Бертом Файвелем он организовал в Берлине еврейское издательство и выполнил для него экслибрис. Первой книгой, выпущенной этим издательством, явился «Judisher Almanach», который стал несомненной сенсацией. В нём утверждалось, что еврейский народ существует не только как нация, но и как народ древнейшей самобытной культуры. В берлинской газете «Welt am Montag» об альманахе писали: «Мы узнали не из теоретических работ, а из конкретных произведений литераторов и художников, что еврейский народ жив и находится в постоянном поиске самоутверждения. Он стремится интегрировать близкие по духу элементы, рассеянные в других культурах».

Позднее в письме к жене, Елене Магнус, Лилиен писал: «Я слежу за судьбой своего народа. Его беда – это и моя беда, независимо от того, консервативен он или современен». С 1905 года до конца жизни художник нарисовал несколько десятков экслибрисов, считая их неотъемлемым атрибутом книги и одним из важнейших видов графики. В них он также использовал национальные мотивы и орнаменты, увязывая их сюжеты с книжными собраниями владельцев (в основном, евреев). В 1912 – 1915 годах Лилиен проиллюстрировал Библию. Вечная книга, словно бы заново прочитанная художником, одета им в новый современный наряд и украшена его полосными рисунками, заставками и концовками.

В 1923 – 1924 годах прошли две большие выставки Лилиена в Нью-Йорке и Берлине, которые, к сожалению, оказались последними.

17 июля 1925 года, в возрасте пятидесяти лет художник скончался от сердечной недостаточности. Значение его творчества велико не только для еврейского искусства, но и для мирового.

Берлин, июль 2004.

О НЕЛЛИ ЗАКС

Говоря о творчестве Нелли Закс, нельзя не отметить, что её лирика несёт на себе отпечаток жестокости и трагедий того времени, в котором ей довелось родиться и работать. Её стихи «не могут раствориться в щёлочи интерпретаций» (Г.Энзельбергер), их невозможно читать легко, их порою трудно понять «с наскоку», над ними приходится подолгу размышлять.

Несмотря на внешнее одеяние грусти и трагизм внутреннего содержания, они, чаще всего, полны верой в существование вечной жизни, данной каждому из нас самим мирозданием.

Нелли (Леония) Закс родилась 10 декабря 1891 года в Берлине, в богатой еврейской семье.

Детство оказалось самой счастливой порой её жизни. Но с ранних лет Нелли отличалась слабым здоровьем, из-за чего не могла учиться в обычной школе, и родители приложили все усилия, чтобы она получила хорошее домашнее образование, которое было завершено ею в 1908 году в берлинской Albert-Schule. Нелли рано увлеклась поэзией, и с 1907 г. начинается её переписка и общение с Сельмой Лагерлёф, оказавшей большое влияние на формирование и становление её поэтического дара. Именно Сельме Лагерлёф, – лауреату Нобелевской премии по литературе 1909 г., посылала Нелли свои первые поэтические опыты.

Но первый сборник её стихов увидел свет только в 1929 году. В следующем году умирает отец поэтессы. Начинаются трудные, полные драматических событий тридцатые годы, когда в Германии к власти приходит нацизм со своей бесчеловечной расовой политикой. После «хрустальной ночи» 9 ноября 1938 года страну захлестнул политический и антисемитский террор. Евреи были объявлены врагами арийской расы и подлежали депортации и последующему уничтожению. Началась трагическая глава истории человечества, унесшая жизни шести миллионов евреев, виновных только в своей национальной принадлежности. Не все просвещённые люди того времени сразу поверили в бесчеловечные намерения гитлеризма, и это неверие стоили многим из них жизни и концентрационных лагерей.

Нелли и её мать едва не были депортированы в лагерь, где наверняка погибли бы. Но, незадолго до того, были спасены. По официальному запросу шведского принца Евгения и благодаря усилиям Сельмы Лагерлёф, им удалось эмигрировать в Швецию, где и прошла вся дальнейшая жизнь поэтессы.

Внешне литературная судьба Нелли Закс складывалась благополучно: целый ряд престижных литературных премий, полученных ею, подтверждение этого. Полученная в 1966 году Нобелевская премия подвела итог пройденного литературного пути. До конца дней в её стихах звучит тема обеспокоенности судьбами мира и человечества и, в первую очередь, судьбой повсюду гонимого еврейского народа, тоска по отвергнувшей её Родине.

Судьба подарила ей встречу и дружбу с Паулем Целаном, одним из самых трагических поэтов XX века. Они познакомились в 1965 г. в Мерсбурге, на Боденском озере, где поэтессе была вручена немецкая премия мира, и провели вместе неделю в спорах о современной поэзии и её задачах. Под впечатлением этого знакомства Целан пишет своё знаменитое впоследствии стихотворение «Моему аистёнку». По дороге домой в Швецию Нелли заезжает в Париж и гостит в семье Целана. Так началась их большая дружба. Так они, потерявшие в годы войны своих родных и близких, стали «братом и сестрой», как стали себя называть.

Нелли была одержима страхами перед реставрацией фашизма, что повлияло на её душевное состояние. Вскоре она оказывается в психиатрической клинике.

Узнав об этом, Целан отправляется в Стокгольм и неделю проводит рядом с ней. Нелли суждено было оставаться в клинике ещё долгие три года. От этой дружбы осталась их почти пятилетняя переписка и много стихов. Поэтесса не смогла пережить известие о смерти Целана. Она умерла 12 мая 1970 года в день похорон своего друга.

Её называют немецкой поэтессой потому, что она создавала свои стихи на родном для неё немецком языке. Венцом её творчества стала эмоционально-напряжённая лирика в традициях древнееврейской поэзии и во многом посвящённая судьбе евреев в фашистской Германии.

Хочется верить, что ещё много раз переводчики будут обращаться к её произведениям и донесут их до русскоязычного читателя.

ДАР ПОЭТА ОН В МОЩНЫЕ СТРОКИ ВЛОЖИЛ

Из автобиографических записей «Моё искусство» ВИДЕНИЕ

Мягкая обложка в коричневых тонах. С неё смотрит лицо с маленьким ртом под крупным кривым носом. Таким уж привиделся иллюстратору Антихрист из колена Данова, герой романа Фридриха Горенштейна «Псалом». Этот том надписан мне на литературном вечере в берлинском магазине русской книги «Радуга» самим автором. Помню, мы с ним переглянулись, когда вывела его рука дату: 30.10.3000, затем в обозначении года поверх тройки легла двойка, а последний ноль перечеркнула единица. Получилось 30.10.2001, но конец тысячелетия проглядывает сквозь его начало. Тысяча лет – не срок, если думать о вечном...

В тот последний вторник последнего октября своей нынешней жизни писатель читал отрывки из романа «Попутчики». Голос его звучал иначе, чем обычно, когда о нём можно было сказать «энергический». В тот вечер такое старомодное, но точное определение не годилось. Голос потерял энергию, и это меня встревожило настолько, что я решила высказать *публично* моё восхищение творчеством автора и тем, что живу в одно время и в одном городе с великим человеком, слышу, как он сам читает свои творения. Возможно, это показалось кому-то несколько чересчур, но сказано было моею душой. Бессмертные авторы – смертные люди, и надо успеть их дар полюбить, им восхититься и сказать им при жизни о творческом их бессмертии.

Почему выделено слово «публично»? Дело в том, что «лично» моё прочтение было выражено в письме Фридриху Наумовичу ещё в феврале 1998 года. Но прилюдное восхищение, не вызванное корыстью или влиянием эстрадно-культовой «стадности», случается, к сожалению, редко при жизни автора. Да и после смерти... Правда, довелось прочесть такое вот запоздалое признание, подписанное режиссёрами М.Розовским, А.Михалковым-Кончаловским и П.Фоменко: «Будь мы на месте Нобелевского комитета, непременно выдали бы премию по литературе Фридриху Горенштейну – писателю, масштаб и уровень творчества которого сопоставим с самыми высокими изысканиями искусства XX века».

Если бы да кабы... Безнадёжность сослагательного наклонения. «Нобелевскую» дают лишь живым. Отчего же при жизни писателя не напечатаны такие слова? И почему «изыскание», если это не газетная опечатка, когда надо «явление»? И не «сопоставим» уровень, а превосходит лучшее...

Но эти похвалы читала я уже в марте, после тех неотступных мыслей о Горенштейне, которые пришли ко мне за месяц до годовщины его смерти. Об этой дате я забыла, но что-то внутреннее (уж не мистическое ли – из небытия?) дало толчок и заставило обернуться. Весь февраль

перечитывала его, и заново перечувствовала, и вновь поражалась. Какой Поэт! Именно поэтом написан «Псалом», с первой строки-посвящения: «Памяти моей матери», и с первой страницы: «На седьмой день творения было Рождество искусства, на седьмой день был человеку этот Божий подарок, и по сей день сохранил Господь его для избранных», и до последней страницы: «Поняли люди через знамение – пылающие святой снежной белизной чёрные лесные деревья ... суть сердечного вопля пророка Исайи:

«О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!»

*

Пылающие снежной белизной... Пылающие чёрные деревья... Еврейское кладбище в Берлине на Вайсензее – Белом озере. Чёрные деревья и белый снег, редкий для берлинской весны. Ровно год со дня смерти Фридриха Горенштейна. Открытие памятного камня. Снято чёрное покрывало. На камне тот же призыв пророка... Тысячи лет – не срок, если думать о вечном.

*

ИМЯ И СУДЬБА

Горенштейн – может, с идиш он – каменный рог,
пробивающий стены и скалы?
Или русское горе, хлестнув за порог,
горьким камнем в том имени стало?

Дар поэта он в мощные строки вложил,
став великим навек псалмопевцем...
И в немецкой земле, средь еврейских могил,
псалмопевца покоится сердце.

Это своё стихотворение я позволила себе прочесть у могилы писателя 2 марта 2003 года, при открытии памятного камня. Выступавшие тогда говорили по-русски. В 2002 году над гробом с телом Фридриха Горенштейна говорили по-немецки. И его сын по имени Дан – тоже. Меня это поразило тогда. Хотя, чему поражаться, ведь он совсем ещё молодой и вырос здесь, в Германии. Лишь Александр Бреннер, руководитель еврейской общины Берлина, произнес речь по-немецки, закончил её по-русски, сказав, что покойный с полным правом мог бы повторить вслед за великим поэтом: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный».

Идя вместе со всеми к могиле, поблагодарила господина Бреннера за то, что русская речь прозвучала-таки над гробом русского писателя. Идущие рядом поправили меня: «еврейского». Полагаю, что никто, и даже сам Горенштейн, не смог бы хладнокровно рассечь два этих сросшихся определения и равнодушно отбросить одно из них, не обращая

внимания на кровоточащие раневые поверхности сущностей обеих частей. Конечно же, много думала я об этом, потому в моём стихотворении имелось ещё одно, срединное четверостишие:

Не был он удостоен хвалы и молитв
за свои неустанные действия...
Он еврейский писатель российской земли,
он российский писатель еврейства.

Некоторые из тех, кому читала я это стихотворение целиком, болезненно реагировали на такие определения. И тогда убрала я эти строки. Может, даже лучше без них?

Прикосновение к раневым поверхностям причиняет боль...

*

Нашла в своих записях от 10 февраля 2003 года несколько набросков о творчестве Фридриха Горенштейна. Вот они.

Писал он прозой, будучи поэтом. Поэтический дар – пророческий, несёт в себе особый энергетический заряд:

Энергия вокруг него клубилась...
Душа поэта – некой плазмы сгусток –
трепещет и пульсируя упруго
вбирает судьбы мира и людей...

*

С магнитным полем Ветхого Завета
был не случайно сильно связан он.

*

Ушёл во тьму
иль к свету смерти сгусток,
зарядом нерастраченным ушёл,
и на мгновенье во Вселенной стало пусто...

Позже, заглянув в словарь, нашла интересные совпадения. Там сказано, что плазма – наиболее распространённое состояние вещества в космическом пространстве. В ней легко возбуждаются колебания, она сильно взаимодействует с электромагнитными полями...

*

«Псалом» Горенштейна – великая поэма. По-гречески поэма означает создание. Белинский писал, что «поэма... схватывает жизнь в её высших моментах». Смерть – тоже высший момент жизни? В создании Горенштейна это именно так.

«Псалмопение – речитатив, мелодическая декламация, ритмика которой подчинена требованиям текста», сказано в словаре. В романе «Псалом» текст подчинён ритмике мысли, как это бывает в высокой поэзии.

Когда читаешь, слышатся псалмопения, которые П.Вяземский определил как «песни проводов из мира и напутствия в иной». Вот отрывки поэтического речитатива на страницах романа «Псалом»:

«Это были вдохи полной грудью
на самой вершине, где воздух настолько чист,
что ещё чуть повыше — и он уже будет
непригоден для жизни...
Но чем глубже вдохи, тем короче дыхание,
вот уже нет выдоха,
а есть лишь вечный глубокий вдох,
как перед смертью...»

*

«Между Чашей и её осколками
такая же разница,
как между Верой и религиями,
между смыслом и концепциями,
между интимностью чувства
и первичностью публичного обряда...
Но разбита Божья Чаша...»

*

«Всякая жизнь и всякая судьба,
даже горькая жизнь и мучительная судьба,
когда она проходит,
должна складываться в Псалом,
Хваление Господу за то, что она состоялась
в отличие от жизней не родившихся
и судеб не состоявшихся.
Всякая жизнь, даже горькая,
есть удача и привилегия»

Да простится мне самовольное расположение текста в виде стихов, ведь это и есть стихи — глубокие, философские. Надо быть гением, чтобы сказать: «... Любое человеческое слово в иных мирах становится шифром» и «... Время — это язык Господень, которым он говорит с человеком».

«Пророк может предвидеть и осознать судьбу народа, но он бессилен перед собственной судьбой». Не сказано ли это о самом поэте-пророке с его собственной не слишком счастливой судьбой, но и с его счастьем обладания «Божьим подарком для избранных»?

Март 2003

А КЕНАРЬ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, БЫЛ ЕВРЕЕМ

«Януш Корчак – рождён в Варшаве, убит в Трешлинке: врач, писатель, воспитатель; еврей, поляк; вся жизнь детям! Никакой ни профессор, не возглавлял никакой кафедры, никогда не поднимался на высокие трибуны для громких речей... Лично причастен к вопросам о разбитом окне, о разорванных штанах, о зубной боли, замёрзших пальчиках, соринке в глазу, потерянному ключику, украденной книге». Так пишет о Корчаке профессор Эрих Дауценрот из университета в Гиссене, посвятивший свою научную деятельность изучению его жизни и творчества.

Польский писатель Игорь Неверли как-то заметил, что многие непосвящённые не верили в реальное существование этого человека. Они считали его не то литературным героем, не то персонажем из легенды. Папа Иоанн Павел II в один из своих приездов в Польшу назвал Корчака «не канонизированным святым» и сожалел, что тот не католик и поэтому не может быть причислен к лику святых.

О Корчаке написано много. Огромными тиражами выходят его книги. И всё же существуют пробелы в его биографии, опубликованной на русском языке. Многие оказались пропущенными и в его «Дневнике» – записи в котором он вёл в Варшавском гетто с мая по август 1942 года.

Русский перевод К.Е.Сенкевича представляет лишь отрывки из его дневника – менее трети оригинала. Некоторые пропущенные записи помогут глубже проникнуть в духовный мир этого удивительного человека.

После депортации еврейского «Дома сирот» Варшавы в лагерь уничтожения, в опустевшем здании оставался лишь сторож-поляк Залески. Многие годы этот одинокий человек работал в «Доме сирот». Когда в 1940 г. всех переселили в гетто, он последовал за детьми. Он помог сохранить дневниковые записи Корчака. А когда был расстрелян вместе с детьми, «Дневник» вынес из покинутого «Дома сирот» ученик Корчака – Игорь Неверли, а сохранила его директор польского сиротского приюта Мария Роговска-Фальска. Рассмотрим некоторые малоизвестные факты из жизни Корчака, упомянутые в его «Дневнике».

Дневник представляет собой отвлечённые размышления о человеке, о жизни, о детях, их воспитании; здесь воспоминания о детстве, философские рассуждения. Драма в гетто – только лишь едва намеченный фон этих рассуждений. Дневник переходит в эссе, которое снова возвращается к форме дневника. Автор пытается вникнуть в психологию палачей. Иногда в тексте видна и горькая самоирония. Даты в записях

появляются лишь с 21 июля 1942г.

Интересен отрывок из воспоминаний о детстве, о том дне, когда маленький Генрих Гольдшмидт (подлинное имя и фамилия Корчака) впервые осознал, что он еврей: «Мне было тогда пять лет и меня уже беспокоил вопрос, что делать, чтобы не было грязных, оборванных детей, с которыми нельзя играть во дворе, где похоронен мой любимый кенарь. Его смерть вызвала из небытия вопрос о вероисповедании. Я хотел поставить на его могиле крест. Служанка сказала, что нельзя, потому что это только лишь птица. Тут и плакать-то грех. Но хуже, что сын сторожа сказал, что нельзя, потому что кенарь был евреем. И я тоже еврей. А он поляк, католик. Он будет в раю. А я, если не буду говорить некрасивых слов и регулярно воровать для него дома сахар, – попаду после смерти куда-то, что, правда не ад, но там темно. Я тогда боялся даже тёмной комнаты... Смерть. Еврей. Ад. Тёмный еврейский рай. Было о чём подумать».

В дневнике упоминается о военной карьере Корчака. Ему, сугубо штатскому человеку, довольно часто приходилось одевать военную форму. В 1905 г., уже будучи врачом, он оказывал помощь раненым на варшавских баррикадах. Тогда же он был мобилизован в царскую армию и стал младшим врачом санитарного поезда, с которым он добрался до фронта в Манчжурию. В 1914 году он вновь в армии, а в 1915 – местом его службы оказался Киев. В 1919 году он служит в польском военном инфекционном госпитале в Лодзи. В сентябре 1939 года Корчак уже не молодой человек, добровольно одевает мундир майора польской армии и оказывает помощь раненым защитникам Варшавы. Ещё несколько недель после захвата Варшавы фашистскими войсками он не снимает мундира польского офицера, рискуя жизнью. Друзья шутили, что он последним признал капитуляцию Варшавы. Его военный опыт с горечью отражён в «Дневнике»:

«Моё участие в войнах...поражение...крах...Мне так и неизвестны чувства солдата армии – победительницы».

Во время армейской службы в Киеве, в течение полугода каждую свободную минуту он уделяет обездоленным детям, которых в то время было много на улицах и в сиротских приютах.

Пригодились его педагогический навык и профессиональные знания врача-педиатра. Здесь состоялась его встреча с Марией Роговской-Фальской – педагогом, директором дома польских сирот в Киеве. Эта встреча положила начало их многолетнему сотрудничеству.

В дальнейшем Фальска стала организатором сиротского приюта «Наш дом» в Варшаве, куда и пригласила на работу Корчака. В этом приюте методика воспитания была той же, что и в руководимом им еврейском «Доме сирот», а сотрудники в обоих домах считали себя его учениками. «Наш дом» функционирует и сейчас в Варшаве. В нём со-

хранилась методика воспитания по Корчаку. Также празднуется день первого снега и самый длинный день в году.

Всем, как и прежде, управляет детский сейм. Есть и детский суд. В этих учреждениях принимает участие директор, обладающий, как и все, только одним голосом. Воспитатели и директор могут тоже оказаться подсудимыми. Разработан судебный кодекс, самое строгое наказание – десять минут карцера. Но есть и наказание, выраженное словом «простить». Корчак также был два раза судим этим судом. Подавал сам на себя в суд, считая что в определённой ситуации погорячился, повысил голос, а иногда и вовсе был неправ, заподозрив одну из воспитанниц в краже. В первом случае Корчак поступил правильно согласно параграфу 21, во втором – был прощён, так как осознал свою вину согласно параграфу 71.

Полны трагизма, но без излишней аффектации записи его дневника. Одна из них относительно письма детей к священнику соседнего с гетто костёла: «Сёмик принёс мне прямо в кровать письмо: хорошо ли оно написано? «К уважаемому Пану Ксёндзу Парафии Всех Святых!»

Очень просим разрешить нам посещение сада при костёле по субботам в утренние часы, возможно раньше (6.30 – 10). Нам очень хочется немножко воздуха и зелени. У нас тесно и душно. Нам хочется дружить с природой. Не будем повреждать растений. Очень просим не отказать в нашей просьбе. Зыгмусь, Сёмик, Абраша, Ханка. Аронек». Потрясающий документ.

В «Доме сирот», запертом в гетто, до последних дней выходила газета, за две недели до депортации состоялась премьера постановки пьесы Р.Тагора «Почта», проводились семинары для «будущих воспитателей». Выжил ли кто-то из них – неизвестно. Тематика семинаров была разнообразной, с большим удовольствием Корчак рассказывал о французском энтомологе, нобелевском лауреате Жане Мари Фабре, авторе десяти томного исследования о жизни животных. Фабр сохранил жизнь всем своим подопытным животным и насекомым. Не зря Корчак хотел написать о нём книгу. Ведь его принцип в педагогике сходный: «Наблюдать, воспитывать, не повреждая»... Основой его педагогики было безусловное уважение к личности ребёнка. «Вы говорите: – Дети вас утомляют. – Мол, надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, нагибаться. – Ошибаетесь. Надо подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться... чтобы не обидеть».

Больной, очень немолодой, Корчак на своих плечах носил продукты, добывая их для детей в условиях запертого гетто, выпрашивал для них пожертвования, сам питаясь водой с чёрным хлебом и иногда гущей от ячменного кофс. Вот как об этом записано в «Дневнике»:

«Семь посещений: ступени – разговоры, двери – вопросы, просьбы... Итог – 50 злотых. Как на них прокормить 200 детей?» (коробка спичек в

гетто стоила 15 злотых).

Нельзя не упомянуть о марше «Дома сирот» по улицам гетто к «Умшлагплатцу», месту отправки в лагерь уничтожения Трешлинку. Существует несколько текстов об этом марше. Они могли бы показаться плодом фантазии, но разные версии отличаются незначительными различиями, а один из них, по свидетельству Эммануэля Рингенблюма – профессора истории Варшавского университета, собравшего и сохранившего много документов по истории гетто, не вызывает сомнений в подлинности описаний этого марша.

5 августа 1942 года фашисты ворвались в «Дом сирот». Окриками и толчками вынудили детей и персонал строиться во дворе. Затем их погнали к месту погрузки в вагоны. Во главе каждого отделения – воспитательница, впереди всей колонны – Януш Корчак, который вёл за руки самых маленьких. За ним – знаменосец с зелёным знаменем, на котором цветок клевера – знамя надежды «Короля Матиуша Первого». Детей было около двухсот. По одной из версий немецкий комендант, узнавший Корчака, предложил ему остаться, вспомнив, что в детстве читал его книгу. Корчак будто-то спросил: «А дети?» – «Это невозможно», – последовал ответ. Корчак молча последовал в вагон за детьми. Попыток спасти Корчака было много. Документы, позволявшие ему выбраться из гетто, приносил Игорь Неверли. Пыталась помочь ему и директор «Нашего дома» Роговска-Фальска. По некоторым сведениям, Юденрат Варшавы добился от одного из руководителей СД – Брандта записки, освобождавшей Корчака от депортации. Все эти попытки наталкивались на его отказ. Он остался верен детям и себе. Стал легендой, неканонизированным святым.

КРОЙЦБЕРГ

(Взгляд на Берлин с Крестовой горы)

Большая сиреневая луна прильнула к краю каминной грубы. Куда ни кинешь взгляд, всюду крыши, крыши, крыши... И только остроконечные купола кирх вылазят, словно шило из мешка... Я усадил своё воображение на крышу, густо поросшую экзотическими фланцами, и слушаю музыку ночного города. Ночь падает на землю звёздной картой, летаргия сковала город, оцепенение повисло среди бетонных скал. Натыкаясь на сонные липы, катятся россыпи женского смеха... Здесь воздух имеет вкус, звук — густоту. Соседние террасы покрыты ёлочками гашиша, и над ними одинокая ворона зависла в стеклянном воздухе. Тихо сочится время над крышами, незаметно поворачиваются часы ночи, звёзды стекают влагой... Понемногу фантазии конвертируются в физиологию, и всё это становится Кройцбергом.

Кто-то скажет про Кройцберг, что это каменный мешок в центре Берлина, что здесь центр немецкого культурного и политического андеграунда, что Кройцберг — это столица турков в Германии, пристанище бомжей, пенеров и обдахлосов. Что это гнездо феминизма... И все они будут правы. Кройцберг — это действительно уникальное место. Вообще и в частности. Кто только не живёт в «чёрном» Кройцберге! Турки, греки, югославы, поляки, пуэрториканцы и перуанцы, монголы и китайцы, арабы, мавры и прочие африканцы; в общем большинство из 440 тысяч ауслендеров, населяющих Берлин. Но не русские. Они предпочитают селиться в Шонеберге, Штеглице, Маобите, на худой конец в «белом» Кройцберге. Но не в «чёрном». Вероятно, я единственный русский, живущий на улице с красивым русским названием «Горлица». Месяцами не слышу здесь русской речи. Только однажды в Горлица-парке натолкнулся на группу подростков, говорящих по-русски, но с отборным матом... Вот уж о ком песня: «Мама — анархия, папа — стакан портвейна...»

Я люблю гулять по кварталам, окружающим Kottbuser Tor. «Kotti», как ласково называют его здесь. Память становится средоточием тоски. У этой части Кройцберга есть какие-то гипнотические свойства. Прихожу туда, когда день, ошалев от суеты, уносится прочь, а на смену ему сиреневый полог вечера, ожидающий лиловую ведьму-ночь... Люблю слушать тяжёлое дыхание полуночных каналов с приклеенными на них фосфорно-белыми шванами, смотреть, как горят в антрацитовом темноте рыбацкие костры-иллюминаторы кораблей-ресторанов, о пришвартованных в заливе у Admiral Brucke... Входить в оазисы столетних деревьев, окружённых джунглями бетонных коробок. Бродить. Чтобы поймать случайность, встречу, с которой начинается новая судьба, тонюсенькая

струйка радости в грохочущем концепте жизни...

Ухватишься за что-то крепкое, более крепкое, чем эта слишком новая жизнь впереди...

Ночью в Кройцберге всё напоминает сон энтомолога, нет ни «вчера», ни «завтра». Здания, несущие на себе следы человеческого тщеславия. Улицы с мёртвыми каналами, тянущиеся бесконечно и не ведущие никуда. Фонари протирают глаза в заспанных подворотнях со старинными водоколонками в витых чугунных балясинах.

Здесь вступает в действие нечто, подобное тому, что составляет для человека магию любой старины, любой руины или памятника – таинственная притягательность прошедшего времени, несущего разрушение, но и придающего драгоценность всему тому, что устояло.

Столетия наплывают из глубокого сна сияющей Шпрее... Также возникают и воспоминания с лунной пронзительностью сомнамбулы...

Кройцберг – один из самых старых районов Берлина. Он был уже тогда, когда ещё не было Neukölln, Tempelhof, Schöneberg и др. Его строили надёжно и основательно из камня и бетона крепкие усатые немецкие парни, которые глядят на нас со старинных фотографий. А построив ушли воевать за интересы кайзера... и не вернулись. Не вернулись их дети и внуки уже со следующей войны, сложив головы за интересы фюрера. В Кройцберге есть улицы со 100% не немецким населением.

В Кройцберге налицо эклектика в архитектуре, застенчивая старина соседствует с наглым модерном. Идешь по старинным улочкам, и хочется растолкать дома, посмотреть, что там у них внутри. Жаль только, что Potsdamer Platz, эта лаборатория современной архитектуры, сегодня не входит уже, как и Tiergarten, в Кройцберг. Район сильно пострадал во время последней войны.

Только 3 февраля 1945 года 958 американских бомбардировщиков сбросили на районы Mitte и Кройцберг 2270 тонн бомб. Некоторые улицы стоят, словно с вырванными зубами, тесный ряд домов, и вдруг – игровая площадка или зелёный оазис между ними.

Досталось и кирхам. Некоторые так и стоят полуразрушенные, некоторые без куполов.

Но кирпич умирают не только от бомб. Жизнь уходит оттуда, когда нет ответа на актуальные вопросы современности. И колокола тогда звучат понапрасну...

Самобытна и необычна богема Кройцберга. Это состоявшиеся и несостоявшиеся художники, литераторы, музыканты, театралы, иногородние и студенты, политики и нелегалы. Этих его обитателей увидеть не просто. Их политические, анархические, феминистские, религиозные и прочие организации глубоко ушли в андеграунд, спрятавшись за вывесками

«Babilonia», «Wagendorf» или просто скромно «Kultur club». Чтобы познакомиться с ними, придётся тёплым летним вечером занять место за столиком в типичном кафе с осыпавшейся штукатуркой, грязным

полом и мерцающими в темноте свечами где-нибудь на Oranienstrasse, Wienstrasse или Gneisenau. Ближе к полуночи они начнут заполняться персонажами, вид которых вызовет метаморфозы в вашей исторической памяти. Лысые женщины и мужчины с косами и хвостами, бородачи до такой степени, что выражение лица не понять ни за что, особенно если это лицо густо покрыто кольцами и татуировками. В одежде, имеющей музейную ценность, и в той, в которой месяцами явно моют полы. Такое ощущение, что кто-то только что оставил келью, кто-то явился из крестового похода, кто-то был другом Тиля Уленшпигеля, а кто-то куртизанкой из романов Мопассана. Скальды, пилигримы, конкистадоры и разные флибустьеры... На лицах многих из них написано: «На самом деле я ещё лучше, я шедевр! Но вряд ли вы легко проникнете в мою сущность...»

Кого только не встретишь в этих пристанищах для тех, кто ускользает от унылого провинциального и семейного быта, где жизнь утратила сюжет. Есть и другая категория обитателей богемного Кройцберга. По утрам на вохенэнде возле скульптурного комплекса на Wranglerstrasse часто мельдётся ещё одна причудливая кодла – дамы, которым за 60, но в мини-юбках, приталенных, расклёшенных брюках, с глубокими декольте. Дедушки с белыми бородами, кто в белой тройке и белых сапогах на высоком каблуке, кто в кожаном прикиде с клёпками, стоптанные копыта в пыли, шея заплыва в голову, но на «Харлее»...

Ветераны хиппи и «Вудстока», первые немецкие рокеры, а может, и бывшие члены RAF. Первый и последний рудимент свободы, как они себя называют...

Нет ничего более забавного, чем наблюдать всякого рода политические «демо» в Кройцберге.

Вот типичный первомай. На Oranien Platz с утра уже всё запружено полицейскими машинами.

Polizisten – молодые ребята с серьгами в ушах. Некоторые с бородами и в очках, кокетничают с будущими демонстрантами. Лысыми, с бугристыми головами, словно из фильма «Марс атакует», татуированными, что нашим паханам и не снилось. Худенькие и маленькие девчонки-полицейские с косичками и большими пистолетами, в свою очередь кокетничают с вальяжными панками в солдатских советских сапогах. Где-то к обеду появляется масса плакатов типа: «Долой капитализм!», «Свободу Мумии!» и т. д.

С серпами и молотами, элементами советской агитационной графики 20-30 годов и троицей в виде Маркса, Мао и Ленина. Далее суровые феминистки с байронической бледностью, живой символ похода за идеей хоть на край света, начинают лекцию. Мощные динамики передают собравшимся их гневный пафос о загнивающем капитализме, беспощадно угнетающем трудящихся, припудренных и присахаренных с их подачи. А в это время сами трудящиеся, а точнее нетрудящиеся – социальши-

ки накачиваются пивом и танцуют «рэп». К вечеру страсти накаляются и «поехало на колу мочало». Коммунисты – панки и анархисты с разноцветными ирокёзами на головах скандируют лозунги, в том числе и любимый: «Die Arbeit ist scheisse!», носятся с красными флагами, писают проходим под ноги и провоцируют полицию на столкновения. Как и полагается, столкновение происходит, самых буйных грузят в машины и обе стороны расходятся с чувством выполненного долга.

Им, как и нашим «дофенистам», неважно против кого и как бунтовать, лишь бы бунтовать. Сегодня он с красным флагом, а завтра с чёрно-красным, лишь бы пиво не кончалось.

Несколько слов и об автономной турецкой республике «Кройцберг». Здесь турки живут также, как и в своих фильмах, – нарочито экспрессивно, с театральными уличными сценами, где любая незначительная проблема раздувается до размеров слона. С утра до вечера в окнах имбирсов видны усатые янычары, рубящие ятаганами мясные брёвна, заывают вывесками на турецком языке в магазины, кафе и рестораны, базары и дискотеки. Собирая нектар с немецких цветов, турки старательно игнорируют всё немецкое... кроме Sozialamt. У них своя культура, основанная на пуританстве и домострое, своя кухня, своя музыка, своя мода, приводящая в ужас феминисток. Забавно смотреть, как турецкие девушки в туго повязанных платках, задрав подола длинных юбок, играют в футбол. Или как солидная мать семейства, по самые уши закутанная в чёрное, подвозит своих отпрысков по утрам в школу на машине. Когда открылись границы бывшей ГДР, больше всего шокировало то, как много турок носятся по Кройцбергу в шикарных «Мерседесах» и нет ни единого «Трабанда». А что творится, когда «Галатасарай» выигрывает! В турецких кафе дым коромыслом и крики восторга слышны по всему Берлину. На улицах почти всю ночь идёт разнокалиберная стрельба, а машины с турецкими флагами гоняют и сигналият безостановочно...

И ещё об одной достопримечательности Кройцберга стоит рассказать. Prinzenbad – здесь это своего рода Ривьера, Лазурный берег. Летом сюда сходитесь бомонд Кройцберга себя показать и людей посмотреть. Здесь устраивают смотрины своих трофеев, возвратившиеся из набегов в южные страны те немки, которые презируют немецких мужчин. Весьма занимательно видеть, как мамыши, густо покрытые детьми и татуировками, в сопровождении разноцветных отцов семейств, дефилируют от бассейна к бассейну, встречаются, щебечут, делятся впечатлениями... Кройцберг... всё не охватишь.

Альбер Камю утверждал, что самый лучший способ познакомиться с городом – это попытаться узнать, как здесь работают, как любят, как отдыхают и как... умирают.

Кройцберг... я оставляю здесь пустые бокалы, своё прошлое и свои надежды...

ПЕСНЯ ЭМИГРАНТА ИЛИ ПИСЬМО К СЕБЕ

На моём рабочем столе стоит оранжевый Ванька-встанька,
Маленький добродушный толстячок.
Никто и ничего не сможет его повалить.
Ванька-встанька – это талисман эмигранта.
Вставай всегда. Как и что бы ни сбило тебя с ног.

* * *

Эмиграция – это
Операция без наркоза.
Вечный бой.
Рывок через один пролёт лестницы жизни,
Кувырок через трясину, когда нет брода.
Полёт через пространство, где есть только ты и Бог.
Сердце, стучащее на верхней губе.
Синяя птица в клетке,
Наступившая на горло собственной песне.
Твоё дыхание, пойманное другими.
Бег через подворотни, в которых пусто.
Письмо к самому себе.
Запускание своего семени в иную форму жизни.
Патроны русской рулетки.
Экстрим в кубе, депрессия в кубе, стресс в кубе.
Эксперимент над самим собой.
Запускание своих вирусов в чужой компьютер.
Рассудок, достигший порога чувствительности.
Полёт на небо за звездой...

* * *

Ностальгии нет.
Как нет любви к бывшей супруге, которая
постоянно изменяла, называя любимым.
Та страна обманывала моего деда,
моего отца, всю жизнь обманывала меня.
Обманывала школа, армия, профессия, перестройка.
Разве человек рождён для обманов и экспериментов над ним?
О чём ностальгировать?
Рассветы над белорусскими озёрами
сменили рассветы над немецкими.
Рубли сменили марки, а затем евро.
Белорусские боровики сменили немецкие.
Леши и судаки здесь такие же.

И джинсы, и кроссовки, и куртки.
Эмиграция эмиграции рознь. Мы не белая
эмиграция, которую судьба выдернула из
засыпанных пушистым снегом лесов, оторвала
от масленниц с их тройками с бубенцами,
блинами и расстегаями с икоркой под водочку
и швырнула на анатолийские раскалённые
камни и пески...
Мы уехали сами.

* * *

Побеждает здесь тот, кто сумеет отказаться от постоянного взгляда
назад, в прежнюю жизнь, прежнего себя.

Тот, кто добровольно пошёл на смерть для воскрешения в новом качестве
с непредсказуемыми последствиями и с другой иерархией ценностей.

И хорошо, если среди этих ценностей присутствует ТВОРЕЦ.

* * *

Эмиграция – это ответ, реакция на неприемлемый ход жизни на родине,
форма самосохранения человека, почувствовавшего себя активным
субъектом культуры, который не захотел быть безликой песчинкой между
неумолимыми жерновами жизни.

* * *

У Левитанского нашёл:

«Каждый выбирает себе сам: родину, женщину, дорогу...»

Переход в иное пространство требует привыкание к энергетическим
перегрузкам.

Когда слово «заграница» превращается из метафизического в бытовое,
то за это надо заплатить страхами и стрессами.

Каждый эмигрант вынужден сопротивляться этому социуму, посвоему
организовывая свой микромир, рисуя повседневную карту индивидуальности.

Здесь чуть ли не каждая черта нового быта обдаёт холодом разрыва
с собой прежним...

* * *

Понятие «далеко – близко» сегодня отсутствует.

Сел в поезд, и завтра на родине.

А самолётом и того быстрее.

Вот только где Родина? Тут или там? Оттуда оторвался, а здесь не
пристал...

Сегодня в глобальных сетях «виртуальной» инфраструктуры, которые

охватили весь мир, своё и чужое смешались и стали одинаково чужими...

* * *

Одна из основных проблем для каждого эмигранта – принимать или не принимать свою второсортность.

* * *

Для тех, кто на родине был эмигрантом, не существует ни родины, ни эмиграции...

Монахи и отшельники, живущие в скитах, – это тоже эмиграция. И художник – это эмигрант.

Истинная трагедия приходит тогда, когда ты выучил язык, приделся, перепробовал, поездил, поработал, а дальше идти некуда. А идти надо.

Это закон развития. Движение – жизнь.

* * *

Иногда безумие маячит рядом, как услужливый официант в дорогом ресторане.

Главное – не дать в себе разрастаться трещинам...

* * *

Вот ещё одно определение эмиграции:

– Стираешь себя ластиком под ноль и начинаешь рисовать заново.

* * *

Эмиграция – это проблема не снаружи.

Эмиграция – это проблема внутри тебя.

Если ты ищешь годами возможность уехать – найди её.

Если не знаешь, кто ты есть, – эмигрируй.

Если разрываешься, ехать – не ехать, – не едь.

* * *

Эмиграция – это добровольный приезд в места отдалённые.

Где быют.

Кто и за что бьёт – не важно.

Важно, что быют.

И иногда сбивают с ног. И здесь, как в уличной драке, главное – быстро встать на ноги.

Иначе – конец.

* * *

Отец имел голливудскую внешность. Занимался штангой, как сейчас говорят «культуризмом».

Обожал женщин и был обожаем ими. Обладал необыкновенными ор-

ганизаторскими способностями.

Я не встречал больше таких людей в жизни.

Дважды ему предлагали эмигрировать.

Подростком в Америку, взрослым – в Германию.

Он не решился.

Вместо этого он попал сначала в фашистский концлагерь, а затем – в «Гулаг».

Жизнь сбила его с ног

И он не смог встать.

* * *

Ещё о художниках. У Матисса и Руо как-то спросили, могли бы они жить и работать на необитаемом острове. Матисс ответил, что нет, там не будет зрителей. Руо ответил да, там буду я и Бог. Это как слова из песни: «Не важно, где теперь живу я, в стране своей или чужой. Там небо, где Иисус со мной...»

* * *

Свой главный урок на тему «Родина – эмиграция» я получил ещё в Минске в начале перестройки, во время всеобщего подъёма и воодушевления. Мои коллеги по «Талаке», забросив плакаты с надписью «Жыве Беларусь», сбежали – кто в Литву, кто в Польшу, а кто в Америку...

Хотя никому из них в упрёк это не ставлю.

* * *

До сих пор не могу поверить, что перестройка провалилась. Что тот дух перемен, духовного подъёма, филантропии и новизма ушёл, испарился...

Вдруг вылезли из какой-то преисподней рвачи, шуты, лизоблюды; братки, «новые русские». Лицедеи и скоморохи.

Что нормой стало отсутствие нормы.

Что каждый эмигрант занимается только своей судьбой, и нет не только общественных идеалов, но и идеалов вообще.

«Идея умерла, скопытилась идея.

Неслась – куда грозней и рухнула с откоса.

А думалось,

Что ей век не будет сноса... (С.Ботвинник)

Здесь, на расстоянии, стало ясно, кто мы теперь.

Мы – поколение, затерянное между перестройкой и капитализмом.

Забудь своё имя и стань рекой (БГ.)

Первое, с чем ты сталкиваешься в эмиграции,
Миллионер, бизнесмен, художник, артист, писатель, политик –

Кем бы ты ни был на родине, здесь ты становишься никем. Страна тебя не знает.

В лучшем случае ты можешь попасть на страницы криминальной хроники.

* * *

Эмиграция – это:
Auslanderbehörde
Lohnsteuerkarte
Rechtsanwalt
Krankenversicherung
Arbeitsamt
Sozialamt
Verdienstabrechnung
Попробуй обойдись без всего этого.

* * *

Все эмигранты – выходцы из Союза за «бугром» – русские.
Поволжские немцы, даже дома общающиеся по-немецки, в Германии всё равно – русские.

Евреи в Израиле, хоть там, как известно, на четверть «наш народ», а Н.Щаранский – даже министр, всё равно – русские.

То же самое происходит в Америке, Польше, Греции, где эмигранты не имеют национальности вообще, только страну, всюду они – русские.

Раньше я думал, что эмиграция – это борьба с внешним миром, а оказывается, это в первую очередь борьба с самим собой. Эмиграция не меняет людей. Она ускоряет процессы в них.

* * *

Когда ты становишься человеком второго сорта, то все грехи, накопленные капиталистическим обществом, щедро валятся на головы людей именно второго сорта.

* * *

Не помню, кто сказал фразу:

«Порой надо очень быстро бежать, чтобы хотя бы остаться на месте».

Мне кажется, что эта фраза может быть лозунгом эмигранта.

Но я бы ещё добавил:

«И чтобы тебя не стёрло в порошок, как шестерёнку, которая стала вращаться не в ту сторону».

* * *

Эмигрант – это пассажир с «Титаника», которому посчастливилось отхватить спасательный жилет и избежать погибельного водоворота.

Первая мысль – спасся!

Вторая – вокруг весь безбрежный океан, а вода ледяная...

Иногда ловишь себя на мысли, что начинаешь не любить почтовый ящик.
С каждым годом тёплых писем всё меньше, а письма с немецким обратным адресом грозят обернуться экзистенциальной бедой...

* * *

У меня нет телевизора.
Я не нуждаюсь в мутном потоке информации из ящика. Его задача – загружать мою голову правильностями из неправильного мира.
Мой TV – это жизнь.
Каждый день снимается новая серия у меня на глазах.
И каждый вечер идёт просмотр кадров из прошлой жизни.
Куда бы ты ни уехал, воспоминания едут вместе с тобой.

* * *

Что привозит человек в эмиграцию...
Центробежное и центростремительное вдруг сошлись одновременно в одной точке и увлекли тебя куда-то...

* * *

Как там в песне:
«Есть только миг между прошлым и будущим...»
Здесь настоящее становится воронкой, в которую вливается будущее, становясь прошлым...
Жизнь превращается в огрызок пространства, где есть Вчера – это родина, шепотка Сегодня – жизнь в иной стране, пригоршня Завтра – неизвестность...

* * *

Научился ценить не только каждый прожитый день, но и каждый прожитый час, не только каждого друга, но и тень друга.
Ты можешь сменить страну, фамилию, язык, ты можешь есть пиццу, суши, кебаб, моцарелу, но ты никуда не денешь любовь к салу, бульбе и чёрному хлебу. Потому что за этим стоят десятки поколений твоих предков...
Надя Леже, едва переехав белорусскую границу, кинулась с хворостинкой к стаду свиней...

* * *

Многое меняется. Многое решается.
Неизменным остаётся вопрос:
– Где будешь умирать?
– Что будет с могилами предков?

* * *

Эмиграция – это проверка самого себя по высшему счёту, на хрупкой

границ внешнего и внутреннего мира. Важно не только узнать, каков этот мир, но и как он переполняется в тебе. Кем являешься ты в нём. Как высоко ты сможешь поднять свою планку.

* * *

У эмигранта внутренний конфликт порождает внешний. Если не выбросишь из своего лексикона слова: страх, лень, усталость, недоверие, недовольство, то они объединятся и раздавят тебя. Тяжелее всего найти гармонию между своими чувствами, желаниями и реальностью.

Ты можешь состояться, только если сможешь крошить зубами гранитные столбы.

Стоять часами под проливным дождём из серной кислоты.

Если ты умеешь слушать своё тело и управлять своей головой, руководить своими инстинктами, а не они тобой.

В приспособление к здешней жизни входят способность не замечать боли своей и сочувствие к чужой боли.

– Wie geht's? Geht Gut! Kein Problem!

* * *

Понятие «смысл жизни» и каждый прожитый день здесь перестают быть только понятиями, они становятся силами, беспощадно повелевающими человеком.

Наступает «момент истины», когда устанавливается их подлинная ценность и состоятельность. Здесь чужая, новая жизнь показывает человеку себя во всей полноте и ждёт от него того же. И горе тому, кто этого не понимает и не принимает.

Это как на войне, где человеческое бытие доведено до предельной остроты, до пограничной ситуации.

* * *

Узнав, что я из Weissrussland, некоторые немцы спрашивали:

– А что, Rotrusslad тоже есть? Но никогда никто не спросил про Schwarzrussland или Grunrussland...

Стереотип.

* * *

Только здесь начинаешь отчётливо понимать смысл фразы: «Что русскому здорово, то немцу – смерть».

Только наоборот.

* * *

Кто страдает в эмиграции, так это турки!

Часто замечаю – идёт турок по улице и поёт. Они и дня не могут прожить без национальной кухни, музыки и футбола. Вот почему турецкие

кафе, магазины, дискотеки и мечети самые многочисленные в Берлине после немецких.

Русских же – раз, два и обчёлся...

Хотя численность русскоговорящих и турок – примерно одинаковая.

* * *

Любимое занятие у русскоговорящих эмигрантов – выискивать недостатки у немцев.

Причём часто со злорадством школьника-двоечника у нелюбимого учителя. И женщины здесь некрасивые, и колбаса здесь никакая, и клубника безвкусная, огурцы кислые, полиция тупая, юмор плоский.

Забывают, откуда приехали.

* * *

Запад – это не одно целое.

Америка, Канада, Новая Зеландия, Австралия – это не Англия, Франция, Италия, Германия. Во-первых нет иностранцев, нет и аборигенов (индейцы в резервациях не в счёт). Здесь знание языка плюс талант может быть формулой успеха для вновь прибывшего.

В странах старого света – нет.

Будь ты хоть семи пядей во лбу, а твой язык – perfekt, если ты Ausländer – это приговор.

Наверх ещё никто не поднялся.

Исключение составляют спортсмены. Но жизнь в спорте ограничена несколькими годами.

* * *

Живя на родине, с её странным уживанием мира жизни и полной гангрены, всего этого «парада-алле», нелепых коттеджей, «Мерседесов», кабаков и пикников, полуразвалившихся крестьянских хат и зубьями торчащих «хрущовок», шикарных надгробий на кладбищах с надписью «Вовану от братвы» и бывших интеллигентов, копошащихся в мусорных баках, всего этого раскрученного маховика самоликвидации, ты верил, что где-то есть иные берега, иные ценности. И вот слово «заграница» превратилось из абстрактного в конкретное.

Его можно пощупать. Да, одно из крупнейших завоеваний немцев – выработка рационального представления о том, что такое социальная справедливость. Это цивилизация, которую нельзя симитировать.

Но достоин ли ты этого? Это надо доказать.

* * *

Из Беларуси эмигрировали всегда. И в советское время, и в революцию, и до неё.

Во времена Франциска Скорины и до него. Важно не то, кто и когда

эмигрировал, а то, что эмиграция для белоруса понятие естественное. И тема разрыва с Родиной остро не стояла никогда. Этого нет в белорусской литературе ни у Быкова, ни у Дамейко, Скорины, Шагала, послевоенной эмиграции.

А вот у русских писателей всегда стояла остро. Один Достоевский чего стоит: «Лучше быть сосланным в Сибирь, чем жить здесь (это он про Германию XIX века).

* * *

Умру и стану немецкой землёю.
Смешаюсь с прахом Гёте и Дюрера.
Нет, лучше Ремарка.
Мне он нравится больше.

* * *

Приходит тот момент, когда ты вдруг понимаешь, что врос в это общество, в эту страну, в этот народ.

Ванька-встанька в тебе состоялся.

* * *

Матери дано уже нет на свете. Я забыл тепло её рук. Но здесь, в Германии, я встретил мать. Фрау Герике, сотрудница нашей фирмы и мать моего шефа, Мартина. Энергичная, деловая, мудрая и бесконечно добрая. Каждый раз, когда жизнь сбивает меня с ног, она помогает встать. Её муж воевал на Восточном фронте, рассказывал ей, как красив Киев весной. Она хотела бы съездить туда. Почему разница между пожилыми немками и молодыми столь велика?

У меня нет братьев, но здесь, в Берлине, братом стал мне Мартин, мой шеф. Человек, совмещающий в себе упорство фанатика, стойкость спартамца и благородство дворянина.

Ещё я благодарен ему за то, что он научил меня, как нужно работать в коллективе.

Я ещё благодарен Ремарку за то, что показал, какой должна быть дружба.

Лютеру за то, что открыл для меня Бога.

Дюреру за то, что научил меня рисовать.

Цвейгу за то, что открыл мне искусство писателя.

Фрейдю за то, что научил правильным взаимоотношениям в семье.

Ницше за то, что помог понять сущность женщины (не фразой о плети).

Неизвестному строителю собора в Ульме за то, что научил качеству труда.

Незнакомой старушке, ухаживающей за могилами советских военнопленных в Баварии, за то, что с этого началось моё понимание немцев.

Берлин. 1998 – 2003.

МЕТАКОД КОНСТАНТИНА КЕДРОВА

Газета «Еuroра – Express» в марте 2004 года опубликовала беседу Сергея Ниденса с номинантом на Нобелевскую премию в области литературы Константином Кедровым.

Когда русского поэта номинируют на Нобелевскую премию, у любителей поэзии естественно возникает интерес к его творчеству, ибо это происходит не так часто.

Отстранимся от лестных эпитетов, коими наделяет С.Ниденс номинанта («замечательный поэт», «незаурядное явление» и т. д.) и попытаемся, в силу своих возможностей, прочитать и понять суть представленных на страницах Интернета стихотворений под названием «Язычник языка».

Время написания их (1960-2002годы) говорит о том, что автор уже несколько десятилетий экспериментирует в «лаборатории» поэтического авангарда, стремясь поразить воображение читателя своими опытами в области поэзии. Можно предположить, что он пытается обновить духовно-эстетическую базу художественного творчества, создать новые формы, отвечающие ситуации нового времени. Подобные опыты в России давно известны. Ещё Василиск Гнедов (1890–1973), называвший себя «Гениальнейшим Поэтом Будущего», пытался путём комбинирования и переделки частей слов акцентировать неявные оттенки их смысла и возможные ассоциации. Изыски подобного рода имеют место и в наши дни. Сергей Бирюков (журнал «Студия», 2003) играет со словом, как ребёнок с кубиками. Расчленив слово, складывает звуковые сочетания в разнообразных вариантах, при этом слово как таковое исчезает, остаются лишь звукосочетания, лишённые смысла. Никто никому не запрещает забавляться. Но в нашем случае претензии посерьёзней.

К.Кедров представляет себя в качестве первооткрывателя так называемого метакода: «Метакод и метаметафора – это новая поэзия и новая метафизика».

Метаметафора, по определению К.Кедрова, – это метафора в системе координат четырёхмерного континуума Эйнштейна: здесь мир выглядит таким, каким можно его увидеть, только двигаясь со скоростью света. Если принять эту установку как реальность, то автор заранее лишает нас возможности постичь его образы:

Человек – это изнанка неба:

Небо – это изнанка человека

Расстояние между людьми заполняют звёзды

Расстояние между звёздами заполняют люди.

Словарь иностранных слов даёт нам более простое толкование слова «метаметафора». Это слово или выражение в переносном значении, основанном на сходстве, сравнении, аналогии, напр. говор волн. А что такое «метакод»? – спросит любопытный читатель. Вот ответ словаря:

Это система знаков, представляющих знаки другого кода (кода-объекта). Другими словами, это метаязык, т.е. язык, на котором описывается другой язык (первичный), язык второго порядка. Вот этим языком второго порядка и пользуется К.Кедров. Его объяснение выглядит следующим образом:

– В основе метакода четыре фазы луны... Здесь же четырёхмастный-континуум пространства – времени и четырёхсторонний крест – основной формообразующий элемент мира (верх-низ, правое-левое)... Это не астрология, а своего рода астральная филология, которая позволяет расшифровать и восстановить звёздную (метакодovou) основу всех популярных текстов.

Надеюсь, вам всё понятно? Нет? Мне – тоже. Поэтому обратимся к текстам. Возможно, они нам кое-что объяснят.

Я язычник
языка
я язычар
чар
язык мой
немой
Верь сия
версия (2002г.)

Поклоняясь языку как идолу, автор творит нечто необычное. Называя свой язык немым, он прав, ибо его язык воспринимается как некий набор или система знаков, которая несёт в себе информацию, воспринимаемую не однозначно, а как одна из версий из ряда возможных.

Ещё пример: Стихотворение «Ст– упор»

Стул на мне сидящий
он – я
я – говорящий стул
разломав меня на части
всё равно невозможно уничтожить
стечение двух согласных
СТ
это неуничтожимо
это бесСмерТно
это Стабильно.
Я оСТАюсь в С тадиионе в С танции в

оСтановке
на Стыке в Стоне в С'тупоре
в иСТине наконец
СТоп
Я СТал СТул (2000г.)

Что мы находим в этом стихотворении, кроме незатейливой аллитерации? При этом с сомнительным употреблением предлогов: в стадионе, в станции, в остановке. И не менее удачный вывод: я Стал Стул.

В следующем стихотворении без названия мы находим авторское определение метаметафоры:

метафора –
амфора нового смысла
как паровоз
в одной лошадиной силе...
радуга из всех горизонтов
пчела утяжелённая
только полётом

Пожалуй, эти строки не требуют специальных комментариев. Но как понять следующие:

Лето в Лето влетая
из лета в лето
ударяя в литавры таврии
тавромахии андромахии
над аэродромом
где все самолёты
давным-давно
улетели.

Неужто весь смысл в аллитерациях? А вот миниатюра и даже рифмованная:

Земля летела
по законам тела
а бабочка летела
как хотела (1997)

Бог с ними, с глагольными рифмами. Но бабочка-то какова! А может она тоже летела «по законам тела»?

Рассмотрим более крупное произведение «Утверждение отрицания» (Апофатическая поэма), которое состоит из нескольких самостоятельных фрагментов. Каждый из них начинается с утверждения или отрицания какого-нибудь известного выражения, затем, используя метод инвер-

сии, строятся последующие фразы. Вот как это происходит у автора:

Я мыслю следовательно существую
Я существую следовательно не мыслю
Я мыслю следовательно не существую.

Или:

«Человек рождён для счастья как птица для полёта»
«Человек рождён для счастья как птица...»
«Человек рождён для счастья...»
«Человек рождён...»
«Человек...»

Если в этих фрагментах прослеживаются какие-то ассоциации, то в других это сделать невозможно:

не трогать смертельно
смертельно не трогать

Или:

Чижик-пыжик
Где ты был?
Чижик-пыжик
Где ты?
— Был.

Просто, но многозначительно. Остаётся только догадываться, как использовал автор метакод при создании этой поэмы и где находится тот код, который поможет разгадать истинный смысл произведения. Подавляющее количество представленных в сборнике стихов написаны верлибром. А это значит, что стих не имеет регулярного метра, ни равносложности, ни определённой системы ударений, ни рифмы. Отсутствие привычных средств организации стиха в одних произведениях «компенсируется» наличием рифмовки в других. Нередко это делается в ущерб смыслу, порождает несурзности. Например:

Царь-отец.
Один медведь говорит другому
– Я – Большой Медведь
ты – Малый театр
Морда медведя обращена к Богу
Как голова Марии Стюарт

Глаголь Добро
Аз Буки Веди
Царь Фёдор Иоаннович
Играет с медведем

Медведь перекрестился взревел
лѣг на лапы
царь перекрестился
сел и заплакал

Говорит царь
– Аз есмь зверь
говорит зверь
– Аз есмь царь...

Я вошёл в колокол
он гудел как пушка
Я вошёл в пушку
она звенела как колокол

У пушки бакенбарды
словно у Пушкина
От колокола осколок
как Крым отколот...

Последние строки радуют нас аллитерацией и сравнением. К сожалению, всё произведение не оставляет цельного впечатления: отдельные строфы лишены смысловой связи между собой.

Общий смысл определить невозможно.

Обратимся к «Девятой симфонии для Бонапарта» (1992). В ней доминируют исторические мотивы (война 1812г.) и тема искусства. Картины боя соседствуют с именами исторических лиц, деятелей искусства, ассоциативно – их взаимоотношения: Наполеон, Кутузов, Бетховен, Немирович-Данченко, Станиславский, Мейерхольд, Минин и Пожарский. Что заботит автора, что печалит, что радует? На эти вопросы нет ответа. Глубокомысленно он констатирует:

Жизнь начинается там
Где смерть переходит в жизнь.

Но ведь это банально: когда приходит смерть – жизнь кончается. А как понять эту фразу:

Смерть кончается там
Где жизнь переходит в смерть (?)

Вся россыпь многочисленных эпизодов в этом и подобных произведениях К.Кедрова напоминает разбитое зеркало, где в каждом осколке отражается ассоциативно какая-то частичка мира, а цельную картину при этом отражении представить невозможно: некоторые лучи, рождённые отдельными осколками, где-то пересекаются, остальные пропадают в пространстве. Безусловно какие-то ассоциации при этом возникают, но причинно-следствен-

ные связи между ними часто призрачны, обнаружить их невыносимо.

Прочитав такое произведение, хочется спросить у автора: Ну и что? Мы ожидали нечто большее, ибо претензии на новизну, особый метод реализации поэтического творчества вселили в нас некие надежды... Оправдались ли они?

В стихотворении «Компьютер любви» среди редких находок (радуга – это радость света, любовь – это дуновение бесконечности, звёзды – это голоса ночи) мы находим утверждения, которые трудно понять, используя самый широкий спектр ассоциаций: кошки – это коты пространства, пространство – это время котов, Пушкин – это вор времени, поэзия Пушкина – это время вора, человек – это изнанка неба, небо – это изнанка человека. Женщина – это нутро неба, мужчина – это небо нутра, проститутка – это невеста времени, время – это проститутка пространства, люди – это межзвёздные мосты, мосты – это межзвёздные люди, страсть к слиянию – это перелёт и т.д.

К.Кедров часто использует аллитерацию и ассонанс. И временами даже успешно. Например: он пел историю неистово исторгая оргии здравого смысла на коих помешан Рим («Плиний»), лучезарная лавина зла (без названия), пах пронзающий прах Земли («Петух»), россыпь роз громоздящих гроздя шипов их роз («Море»).

В рассматриваемом нами сборнике «Язычник языка» подавляющее число стихотворений состоит из неологизмов. Красноречивее всего в этом отношении стихотворение «Портант»: Восьмиконечная звезда вернеет/ третья падая восьмерит/ лунеет отрицант цвета тосковатого/ Металл Металит Метально...

И ещё... Винт винтин смертит мерцает винтеет/ винтно стелется тангенсеет/ больная актриса или/ над – право леветь нутрь нутрит/ запад западеет в сырый роялит...

И так во всех пяти частях стихотворения. Как известно, неологизм создаётся обычно для обозначения новых понятий, ради достижения большей выразительности в контексте конкретного произведения. Достигает ли этой цели автор? Перед нами ряд искажённых часто до неузнаваемости слов, потерявших своё прямое назначение – быть звуковым выражением отдельного предмета, мысли.

Кстати, в стихотворении «Бесконечная» автор утверждает, что своё одиночество он скрашивает, уходя в мир понятий и слов, и этот мир приходит на смену миру реальному, в результате чего он испытывает ощущение «великого диссонанса». Если иметь в виду приведенные выше неологизмы, то уход автора в мир ирреальный – факт свершившийся. Каждый спасается от одиночества как может. В стихотворении «Поцелуй» тема любви и измены решается посредством таких образовавшихся символов: шлейф Карениной на шпалах, Распутин в кругу фрейлин, осьминог, вошедший в осьминога, двое, образующие цифру «8», сосущие друг друга, море взсос устремляющееся к луне, священник, пьющий из чаши церковной и причмокивающий во сне ребёнок. Так представляется

поэту «вселенский засос» в момент «возвышения над миром», где «поэзия – вершина бытия» (ст. «Бесконечная»). Очевидно, в ситуации «вселенского засоса» приходит к поэту вдохновение, «как гремющий танк в распахнутый люк вертолёта». Через ушко иглы, рождённая вдохновением, приходит нитка звука, которую автор сравнивает с непрозрачным кварцем, в котором таится прозрачный объём.

Усилиями, пусть не всегда успешными, достигается, как считает автор, высота полёта. В результате «из тихого омута выплывает тихая лилия лелея объём».

Достаточно примеров. Обратимся к размышлениям по поводу написанного. Предоставим слово прежде всего номинанту: «Я твёрдо убеждён, что не мы говорим языком, а язык говорит нами.

Это привело меня к созданию звёздного языка поэмы «Астраль» и сверхграмматике поэмы «Верфлием». И «...меня любят философы, композиторы, художники, актёры, пытливые старики.

То есть те, кто легко объединяется двумя словами – творческая интеллигенция. А таковой в России всегда немного». Надо честно признаться, что «звёздный язык» и «сверхграмматика» К.Кедрова не стали ещё предметом нашего изучения. И нет уверенности в том, что мы относимся к категории людей, перечисленных выше автором метакода и метаметафоры. Но рискнём изложить мнения людей заинтересованных.

– Произведения Кедрова находятся как бы на периферии человеческих чувств и ощущений.

Часто это мозаика из весьма отдалённых ассоциаций, напоминающая ребус, который трудно разгадать, но даже разгадав, не испытываешь удовлетворения. При этом хочется спросить у автора: «И это всё?»

– Нужно обладать колоссальным воображением, чтобы среди признаков 3-х, 4-х, 5-степенного отдаления выбрать именно тот, который автор имел в виду, создавая свой «шедевр».

– Путь формирования поисков и новых подходов в поэзии, уходящий в область абстракции, привёл автора в область ирреального. Связь между понятиями, образами ослаблена настолько, что восприятие произведения становится проблематичным.

– В том, как представляет себя К.Кедров, видно его стремление утвердиться в качестве первооткрывателя нового метода, новых открытий в поэзии, но представленные им произведения не убеждают нас в этом.

Вот такие мнения. Попробуем и мы высказать своё.

Творчество поэта не может строиться только на ассоциативных связях и технических новшествах. Как бы мы ни называли свои творческие методы, это только инструментарий.

Нужны мысль, вкус, чувство меры и, конечно же, талант. При дефиците этих исходных создать нечто значительное в искусстве, в частности, в поэзии – невозможно.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ.

Владимир Авербух
Леонид Бердичевский
Игорь Гуревич
Олег Никогосян
Альфред Ходорковский
Марк Шейнбаум
Давид Яновский

С немецкого

РАЙНЕР МАРИА РИЛЬКЕ

Из книги «Сонеты к Орфею»

Не надобно надгробий. Просто – розы
из года в год пускай цветут – ему.
Ведь тут Орфей. Его метаморфозы.
Он в том и том. Искать, ей-ей, к чему

иных имён. Раз навсегда признали:
поёт – Орфей. То с нами, то уйдёт.
Уже не много ль, коли на день, два ли
порою розу он переживёт?

О, как уйти он должен – ясно вам?!
Пусть страх пропасть томит темно и едко.
Земное словом превзойдя, уж там

он, в новом том, где нет у смертных пая.
Решётка лирных струн ему не клетка.
И лишь послушен он, переступая.

* * *

Славить – вот слово! Послом хваловестным
вышел он в мир, как из неми земной –
медь. Это бренное сердце – о перст, нам
вечное выдавившее вино.

Если мыслью в примере высокою
не отпугнут его тлен и прах,
Всё виноградником станет, всё – соком,
в тропиках чувств его вызрев размах.

В царских гробницах дух плесени-гнили
не уличает во лжи его! Или
что от богов ляжет тень окрест.

Он в дверях! – мира мёртвых посыльный,
и распахнут в их сторону сильной
длани всеславящий в раже жест.

* * *

Там ступать пристало нимфе плача,
где уже хвалы хорал звучал.
Чтоб из жалоб наших, ей задача,
чистый ключ забил в подножьи скал,

алтари вознесших и колонны.
Посмотри, потуплен в слёз узор
нимфы взор. По шуплых плеч наклону
видно, что – меньшая из сестёр.

Радость – знает, жажда – признаётся,
эта – всё, как ученица, мнётся,
по ночам считает беды вдосыть.

Но внезапно – взлёт и кос и крив,
а – в зенит созвездием возносит
голос наш, небес не замутив.

* * *

Нового тряс и гуд
чувствуешь – Боже?
Славить уже бегут
и это тоже.

Хоть и беда ушам
в грохоте, ныне
петь подобает нам
гимны машине.

Вишь, как уютжит:
мчит, мечет, мстит, мечась,
мучит, безручит нас.

Мощь раз от нас вся в ней –
без выкрутасов, страстей
просто пусть служит.

**Из книги «Новые стихотворения,
другая часть».**

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА

Звали старой исстари. Да вот
всё жила. И холод ли, жара ли,
каждый день на площадь шла. И стали,
мерку поменяв, вести ей счёт

на века, как лесу. А она
каждый вечер там же, где вчерашний,
став, сторожевой стояла башней,
выжжена, пуста, черна,

со всегдашней стаей слов вокруг,
что плодились безнадзорно в ней и
окружали криком, облетая;
отлетав, немея и темнея,
на ночь вновь усаживалась стая
под навесом бровных дуг.

ПРОКАЖЁННЫЙ ЦАРЬ

И тут проказа грянула как гром,
на лбу его явившись под короной,
как будто он над страхом стал царём,
в котором все застыли потрясённо,

вперившись в лоб тому, кто окаян
ждал: кто его, в какое из мгновений
пронзит; ждал, сузясь, сам как истукан;
но всё ещё был как аркан
на каждом, будто неприкосновенней
вдвойне он стал, приняв свой новый сан.

СТРАШНЫЙ СУД

В страхе – отродясь такого страха
не было в них, – рыхлы, дырявы,
скорчились на корточках коряво,
в охре праха; не содрать рубаху

с них: сроднились с ней в утробе гроба.
Но идут уж ангелы, чтоб в жажду
сковородок масла влить и чтобы
получил себе под мышки каждый

то, чего когда-то в суматохе
он не осквернил – в своей далёкой
жизни той: тепла остались крохи

там, – перстам Его не охладиться
чтоб, когда с того, с другого бока,
пробегутся, пробуя: годится?

МЮНСТЕРСКИЙ КОРОЛЬ

Его подстригли вчера, и
корона теперь к ушам
сползала, чуть пригибая
их. Ненавистный гам

врывался в них то и дело –
глоток голодных лай.
Тяжелозад, сидел он
на правой руке для тепла.

Себя настоящим, мрачен,
не чувствовал, как оглох:
монарх в нём был невзрачен,
и стал в постели плох.

С немецкого

ЭЛЬЗЕ ЛАСКЕР-ШУЛЕР

ОСЕНЬ

Сорвала на обочине синий цветок.
Это был маргаритки зачахший росток...

Вот и Ангел пришёл,
чтобы саван мне сшить по размеру.

Я надену его,
отправляясь в иные миры,
обессмертив себя
мемуаром любовной поры,
И покойник воскреснет,
приняв его сразу на веру.
И под флагом любви
он забудет дурные приметы,
хоть и пляшут метели,
и воют холодные ветры,
И волнуют деревья вокруг
и кружат каруселью.

Ударяя больные сердца,
что покоятся в их колыбели...

Как мне горько и тяжело
тащить этой осени груз.

Ведь луне лишь дано
отвечать на любые запросы.

Всё заметит она,
совершая небесные кроссы.

Жаль, ответить за всё
не смогу ей да и не берусь.

МОЙ ГОЛУБОЙ РОЯЛЬ

В моём доме есть голубой рояль,
но я не знаю ни единой ноты.
Он у двери подвальной, хоть и жаль,
с тех пор, как мир поведал мне чего-то..

Четыре звёздные играли мне руки
о лунной женщине, поющей в лодке.
Теперь здесь пляшут крысы, вопреки
клавиатуре, — сломанной уродке...

Оплакиваю мёртвый я рояль.
Питаюсь горьким хлебом я при этом.
Прошу вас, ангелы, мне приоткройте даль
небесных врат, что вечно под запретом.

ТИБЕТСКИЙ КОВЁР

Ты душу свою на моей распростёр,
свернул наши души в тибетский ковёр.

Как лучик к лучу, так влюблённые краски —
небесные звёзды — мы тянемся к ласке.

Мы ноги свои опустили в купель —
во множество тысяч ковровых петель.

Сын ламы, сидящий на мускусном троне —
твои поцелуи как нежная трель...

с тобой друг у друга мы в вечном полоне.

С французского

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

ГИППОПОТАМ

На Яве, в сказочном пейзаже,
зверей не перечислить нам.
Но всех милее, ближе, краше
мне увалень-гиппопотам.

Здесь рыком раздражает тигр.
Змея язвительно шипит.
Под пляски обезьяних игр
Гиппопотам на брюхе спит.

Тяжёлых вздохов нет и дрожи,
И слёз во сне не может быть.
Уверен он: солдату кожи
его никак не прострелить.

О, как во многом мы похожи —
я мыслью поглощён своей
и одинок, и замкнут тоже
среди суетливости людей.

ТРИСТАН КОРБЬЕР

НА РЫНКЕ

Креолки и бретонца смесь —
с утра притопал он на рынок,
где сплетни, толчея и спесь
без умолку и без заминок.

Вперёд! К услугам рынок весь.
Кошёлоч карнавал лавиной:
«На плечи, попрошу, не лезь,
смири, приятель, рык звериный!»

Свою преследовала цель —
спешила Муза на панель —
и тут остановилась в трансе,

но сразу устремилась прочь,
поняв, что каждый здесь охоч
горланить в рыночном романсе.

ЖАН МОРЕАС

ВИЛЛА

Среди каштанов и густых кустов сирени
томится вилла в переливах светотени.
Её обвил вокруг ползучий плющ.
Глицинии висят, как голубые вазы,
и гладиолусы желты и остроглазы,
голландский тополь стросн и цветущ.

Вот узкая рука при зареве заката,
в бокалы влагу льёт кровавого муската.
Беседка здесь — прохлады колыбель.
И скошенной травы дурманит душный запах,
вечерних скрипок, задыхающихся, храны
покой сулящий, нудный риттурнель.

Под жалобный мотив, под ропот водоёма,
едва коснувшись их, почти что невесомо,
цветы в косицы заплетает лень.
И в опьяняющем цветочном аромате
при замирающей усталости, нам кстати,
в изнеможеньи угасает день.

С польского

ВИСЛАВА ШИМБОРСКА

ЭПИТАФИЯ

Здесь лежит, свернувшись, как запятая,
дама, весьма и весьма пожилая.
Автору нескольких стихотворений
земля предоставила во владение
место, чтобы её покоился труп,
хоть не был он членом литературных групп.
И нет на могиле больше иного,
кроме рифм-лопухов, как сонные совы.
Прохожий! Включи мозги, с сожаленьем
и над Шимборской подумай мгновенье.

* * *

Подходите ко мне.
Обучу вас молчанью.
На любом языке
и по первому взгляду
проявлю к вам внимание.
Это, думаю, надо.
Это вовсе не странно:
по чертам великанов,
по ночным светлякам,
по младенца сырым ноготкам,
и по звёздному ночью набору,
по снежинок узору.

* * *

Кто может ответить? Куда исчезает
сочувствие (ваше воображение)?
Пусть скажет об этом.
Смелее расскажет об этом.

Ничто не скрывает.
Пусть выскажет мнение.
Проверит по разным приметам.
И даже споёт и свободно станцует.
Пусть чья-то насмешка его не волнует.
Пусть весело спляшет под грустной берёзой,
роняющей частые крупные слёзы.

С немецкого

НЕЛЛИ ЗАКС

Я знаю, человек стремится к свету.
Тогда, когда чернеющей струёй
прольётся на песок и канет в лету
всё то, что было для него судьбой.

И вот во снах, прибежищах бесслѣзных,
из колчанов пережитой тоски
взлетают стрелы над дорогой звѣздной
открытой солнцу пламенной души...

Но что же здесь, где древних букв загадки,
что больно ранят взор его очей? —
Вновь бесполезность перечтёт остатки
прошедших дней под пологом ночей.

И стянутая вчетверо узлами,
склонится память розою ветров
над тем, что обещалось его снами
в лесах давно умолкших языков.

И протрубит труба о переменах,
происходящих даже в темноте,
в пыли веков, подвижной и нетленной,
не подчинѣнной мира суете.

Небесных тел алмазная корона
удержит стрелы, вознеся их ввысь
туда, где солнца жар красно-зелѣный
вновь возродит оконченную жизнь.

* * *

Среди грехов,
деяний и свершений,
похожих
на приливы и отливы,
которые, скользя
по фазам лунным,
восходят
к поволуния кануну,
избрал Давид

иссохший древний корень
давным-давно
покинутой земли,
и вновь взошла
(с молитвою ли,
стоном?)
тоска по родине
единственно-желанной.

Она бурлящей пеной
охватила
его сознание
и жизни целой суть.

В подземных недрах
бушевал огонь.
И в нём сгорало всё,
что отцвело:
животные,
растения,
и пепел
их остывал
в породах горных руд,

он превращался
в обелиски
пророков тех,
чьи взоры
восходили
к Богу...

* * *

Охотник целится в звёзды.
Прямо в моё созвездие.
В самую субстанцию крови.
По бесприютному
поздно
искать дорогу к Доверию.

И ветром уносится вера.
Но ветер – совсем не дом.
Залижет он раны зверям,
но только не мне.
Потом,
не знаю,

найду ли время,
чтоб нити лучей
солнечных
любовью своей
нетленной,
шёлком ночей
бесконечных
сплести для того,
чтоб ресницы
спокойно смыкались,
когда убегу я от злобы
в покои
неведомой дали?

Охотник целится в звёзды,
и мне убежать уже поздно...

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

МОЕМУ АИСТЁНКУ

Посвящается Нелли Закс

Ты помнишь наши
в Цюрихе беседы?
Их было много,
а казалось мало.
Дни уходили,
ночи без теней...
И говорили
мы тогда о Боге
и что Христос был,
как и мы, еврей...

Но встретим мы Его, –
как это странно! –
От света этого
по сторону другую,
когда
день Вознесения настанет,
когда начнём и мы
совсем иную
свою Судьбу
в пределах неземных.
И по воде мы,

как Христос, пойдём
ко храму Господа
под золотым дождём,
под светом звёзд
в высотах голубых...
Я часто горячился,
на судьбу ропгал
и даже утверждал,
что Бога нет.
Но я любил,
и я тогда не лгал,
что верил сердцем
в Высшее Начало,
которое жестоким
быть не может,
которое за грех
людской словесный
карагь не будет
в тишине небесной...

Твои глаза
устремлены туда.
Но как мне жаль,
что ты меня
не слышишь.
О, как тебя я
понимал тогда,
ловя слова
и в намереньях губ...

Как мало знаем мы...
Как каждый груб
из нас...
Но живы мы,
и слышу я:
ты дышишь.

ПСАЛОМ

Никто не вылепит опять
Из глины и сырой земли.
Никто не станет возражать,
Из пепла мы или пыли.

Но мы поём хвалу Ему,
Тому Никто, и потому,
Что всем причинам вопреки
Не сгинут никогда ростки.

Ничто мы нынче. Но теперь
Вновь возродимся из потерь,
Мы Есть и Будем прорасти
И вечно в мире пребывать,

И восставать из Ничего,
И розой быть для Никого...

На гриф душевной чистоты
Натянем нить пустых небес
И пламя слов, в которых Ты,
Извечно Был. Навечно Есть.

Псалом поём. В его словах
Мы – роза алая в шипах...

С армянского
ПАРУЙР СЕВАК

СОЗНАЮСЬ

Я устал от мелких холодных слов.
По мне: лучше умелый кузнец, чем ювелир.

**ТВОЯ НЕСПЕЛАЯ ЛЮБОВЬ
И МОЁ ЗРЕЛОЕ СТРАДАНИЕ**

Твоя неспелая любовь и моё зрелое страдание
Встретились, как два путника,
Где-то на малолюдной тропе жизни
И дальше должны вынужденно вместе брести
Твоя неспелая любовь и моё зрелое страдание.

А, когда устав, мы приляжем, чтобы вздремнуть,
Даже если бок-о-бок друг с другом, –
Между нами, словно в народных преданиях,
Молча кладётся, как сказочный меч,
Твоя неспелая любовь и моё зрелое страдание.

СЛУЧАЙНО ВСТРЕЧАЕШЬ В ЖИЗНИ

Любимого всегда случайно в жизни встретишь,
Но вынужденно расстанешься с ним...

Хочешь: молчи.
Хочешь: кричи.
Хочешь: грызи собственный язык.
Хочешь: заткни подушкой рот.
Хочешь: ногами подушку избей.
Если верующий – бога кляни.
Коль неверующий – в бога поверь.
Хочешь: не желай больше ничего – зря;
Хочешь: жить не желай – зря...
Но ведь в том-то вся суть и соль
Настоящей жизни и любви.

Случайно встречаются в жизни.
Вынужденно расстаются.

ЧИТАЮ

Читаю и... понимаю,
Что хотя на месте героя себя представляю.
Но однако ж нам не по пути:
 Он отважен, я – осторожен;
 Он – действие, я – ощущение;
 Он в жертву себя принесёт (когда время придёт),
 Бесстрашно умрёт.
 А я его... хорошо понимаю,
 Но не принимаю...
Может, книги легче писать, чем читать.

С немецкого

РИХАРД ЛАЗАР

ОБЪЯСНЕНИЕ

— Я хотел бы в тебе раствориться! —
так я с Рифмой решил объясниться.
Вот! — воскликнула Рифма. — Потеха!
Я умру или лопну со смеху!

И заметила, смех прерывая:
— Но теперь должна слопать тебя я,
чтобы смог ты во мне размеситься! —
продолжала шутить озорница.

— А тебе, видно, нравится это! —
я ответил ей, шуткой задетый.

Но давно уже стало привычным,
что я пользуюсь Рифмой обычно.
Это кажется мне аксиомой.

Вдруг запела она по-другому:
— Здесь, наверно, заметить уместно:
с давних пор я поэтам известна.

Все дотошно меня изучают —
только глупый об этом не знает.
В суть мою ты проникнуть попробуй:
убедишься — мой голос особый.

Не решился я Рифме перечить,
чтоб мелодию строк не калечить
(германисту такое иному
как обычное дело знакомо,

только не для меня). Я не скрою:
втайне предан я ей всей душою.

Будь что будет: я ей предоставил
обладать мной бессрочное право.
И тогда — без особых амбиций —
Нечто Новое может родиться.

ОДА

Забытый Богом в брошенном саду,
Сию один у дома твоего,
Жду с тайной страстью только одного, –
Осмелившись дожидаться. И дожусь,
Когда пробьётся к нам издалека
Глазастый вечер через облака.

Над дремлющей некошеной травой
Рукам моим подняться тяжело.
В гнезде кричат голодные птенцы –
Их мать куда-то ветром занесло.
Нетронутый садовника рукой,
Заросший сад задумчиво стоит.
Природа-мать хранит его покой
И соками земли его поит.

Заходит солнца красный каравай –
И ночи бархатной расплылась поволока,
Укутывая весь затихший край
И уголок мой скрытый ненароком.

Увидеться! – сильней желанья нет:
Прекрасный образ стал тому виною.
Зажги в твоём жилище яркий свет
И появись скорей передо мною!

... Внезапно свет погас в окне знакомом,
Спустилась ночь в глубокой тишине,
И время сна застыло невесомо.
Нет мук моих печальнее на свете,
Их облегчает лишь ночной холодный ветер.

Спешу к тебе я, прежде чем меня
Забыла ты до нынешнего дня.
Но, может быть, жива в тебе любовь
И я войду под твой уютный кров.
Не простудись! Напрасно же ты встала.
Укройся поскорей! Возьми-ка одеяло.
И сердце заодно. Оно так одиноко.
В нём места нет для гнева и упрёка.

Возможно, для тебя сегодня же умру я,
Исчезну навсегда – пред первым поцелуем.

К КАЛЕЙЕ

Всё зло тобой разрушится до дна,
Любимая, прекрасная Калейя!
Вся женственность в тебе воплощена,
Ты радость излучаешь, ворожея,
Волшебной силой ты наделена.

Сияет небосклон, и солнца свет – в глаза,
Навечно зло исчезло на планете.
Душа смеётся, места нет слезам
И счастье бьёт ключом на белом свете.
А в той гармонии, в незримый светлый миг
Сложилось «я» твоё в неповторимый стих.

ЛЮБОВЬ И ПЕПЕЛ

(К протоколу одного эксперимента)
Для опытов и жизнь твою не жаль,
Малыш из дальней сказочной страны,
А тело врач, ничем не дорожа,
Отправит в печь, на чувствуя вины.

Не дав наркоз, он вскрыет грудь твою,
Чтоб лишь узнать, как боль твоя остра,
И жажду знаний утолить свою:
Как сердце в шоке сковывает страх.

От тех мучений ты впадаешь в сон
И мчишься сквозь прекрасный светлый мир,
Ты видишь горы, реки, небосклон,
Цветы любви на всю земную ширь.

Ты всё летишь безудержно вперёд.
Прошла гроза – и снова солнце слепит.
Растаял медленно твоих страданий лёд –
И только мамин неостывший пепел
Всё время по тебе немые слёзы льёт.

С польского

ФРАШКИ

Фрашки – рифмованная ироническая миниатюра. В неё входят эпиграмма, афоризм, гротеск, короткая басня, шутливая эпитафия. Фрашка популярна в Польше более пяти веков. Ей отдали дань многие, крупные поэты. Она актуальна и поныне.

ЯН КОХАНОВСКИЙ
(1530-1584)

К девице

Чего так бояться, к чему убегать:
Борода седая румянцу под стать.
Красивы седины и даже в венке,
Ведь красное с белым уместны вполне.

Чего так бояться, к чему убегать,
Старое сердце младому под стать.
Борода седая – боец закалённый –
Чеснок ведь белый, но хвостик – зелёный.

Дуб листвою не очень богатый.
Стоит нерушимо, как прежде когда-то.
У старого кота, так и знай, зазноба,
хоть хвост и облезлый, но крепкий... до гроба.

ЯН ИЗ КИЯН
(первая половина XVII в.)

Шуткой не всегда закончится дело:
Я обнял Зосю за талию несмело;
Пришлось на пелёнки выдать деньжата:
Только прикоснёшься, и она – брюхата.

ВАЦЛАВ ПОТОЦКИЙ
(1621-1696)

Что наши девы ищут в той Италии?
Дома б сидели и пряжу пряли бы.
Золото увозят – им дома неймется,
Редко какая невинной вернется.

ЯН БОРКОВСКИЙ
(середина XVII в.)

О долгах и должниках

Долги оттого и долгами зовутся,
что долго их ждать, пока отдадутся.

Похвала цензору

Оттого, что цензор не судит их строго,
Книг сегодня в Польше издаётся много.
Всем писакам никто не мешает.
Богу хвала — их никто не читает.

ДАНИЕЛЬ БРАТКОВСКИЙ
(умер в 1702 г.)

Выборы депутатов

Рюмок полсотни, с десяток подносов.
Пол-литра вина для каждого носа.
Успевай наливать — надо быть богатым,
коль захотелось стать депутатом.

АНТОНИН ГОРЕЦКИЙ
(1787-1861)

Издание поэмы

Чтоб издать поэму — нужен капитал
Да ещё уплатить, чтоб кто-то читал.

АЛЕКСАНДР ФРЕДРО
(1793-1896)

Эпитафия врачу

Прохожий! — не надо лишней печали.
Был бы я живой, вы здесь бы лежали.

Палач

—Простите неловкость, — смутился палач. —
Впервые на службе, неловко, хоть плачь.
—Не стоит смущаться, и меня до сих пор
никто ведь не вешал, — признался вор.

АДОЛЬФ НОВАЧИНСКИЙ
(1876-1944)

На нашем дворе, у навозной кучи,
В лоб петуха индюк клюнул могучий;
Гуся долбанул Петух, аж эхо раздалось.
Всё это полемикой почему-то звалось.

ЯН ИЗИДОР ШТАУДИНГЕР
(1904-1970)

Сказка о цинике

Едва только мистик остыл,
Его тут же циник сменил.

Гнев господний

Господь был, видно, преисполнен гнева,
Когда, отняв весь рай, оставил Еву.

ЯН ЧАРНЫЙ
(род. 1918)

Любительница литературы

Писателям всем отдаёт предпочтение —
она перед сном наслаждается чтеньем.
И, главное, не успевает забыть —
автора книги в кровать пригласить

С немецкого

МАША КАЛЕКО

ГЕРМАНИЯ, ДЕТСКАЯ СКАЗКА

*Написано о путешествии
в Германию в год Гейне (1956г.)*

1.

Семнадцать лет провела я в США,
И вдруг овладела мной мания,
В последний день года моя душа
Потянула меня в Германию.

Долго махали мне с пирса друзья,
Одни с тоской и тревогой,
Другие, казалось, хотели сейчас
Пуститься со мною в дорогу.

Декабрьское солнце, как золотой
Доллар, ушло за Манхэттен.
И что было чётким при свете дня,
Расплылось на силуэты.

Какою, Германия, я теперь
Найду тебя через годы?
Мне страшно. Исчезли огни Нью-Йорка
И памятника Свободе.

На палубе громко играет оркестр,
Фонарики ветер качает.
Я не пошла на «Гала-концерт»
И свой Новый год встречаю.

Я приветствую сей выдающийся год
Французским вином юбилейным.
Десять лет, как рухнул «бессмертный рейх»,
И сто, как скончался Гейне!

2.

С тех пор ни один немецкий поэт
Так свободно не пел о свободе,
А в душной темнице свободы плоды
Уродятся – урод на уроде.

Любил он шутку, любовь и печаль,
Отчизну и духа величие.
И был он немец. Немец, не бош.
Да здравствует это различие!

Сатирик, лирик и патриот,
Без дубовых листов и мечей,
Он был покоритель женских сердец,
Романтик и книгочей.

Гораций, Вертер, Аристофан,
В нём вся отразилась эпоха.
И был он бунтарь до мозга костей
Без страха и без упрёка.

Из корня Самсона, из рода Давида,
Над чем издевались жутко,
Колол он мешанского Голиафа
Остро отточенной шуткой.

3.

Как Гейне, и я на чужбине жила
И часто скучала при этом.
(И то, что издатель мой – в Гамбурге,
Роднит меня тоже с поэтом).

Скрывать я не буду. Происхожу
Я от Генриха Гейне.
Как Тухольский и Манн, Жироду и Верлен, –
Мы любим свет и горенье.

Я ведь тоже «поэт немецкий,
Известный в своей стране».
И когда говорят о второстепенных,
Вспоминают и обо мне.

Когда-то пел песни мой народ –
И трезвые и хмельные.
Но изгнали и песенки и певца –
Оба были «некоренные».

Когда-то я в Пруссии пела по классу
Птичек больших городов.
«Это было когда-то». – Детские сказки
Начинаются с этих слов.

4.

«...И Красную Шапочку съел злой волк».
Неарийской она оказалась.
Нам твердят, что теперь в немецких лесах
Волкам только травка осталась.

Любой штурмбанфюрер теперь пацифист,
А газеты – сказочные лубки.
И живут с евреями христиане,
Как милые голубки.

Чествуют автора «Лореллеи»,
Как славного аргонAUTA, –
В хрестоматиях пишут уже Генрих Гейне,
А не «неизвестный» автор.

Хоть нет нигде памятника поэту
И полных собраний нет,
Зато он прославлен в миниатюре:
На марках его портрет.

(Я вижу, как едко великий шутник
Над этой маркой смеётся...)
Да, «классиков немцы не знают своих».
(Цитата из Гёте, из «Гёца»).

Говорят, освежающий ветер с гор
Над немецкими землями веет.
И если живы они до сих пор...
– Я должна их увидеть скорее!

ХАЙНЦ КАЛАУ

ВСЁ НАСТОЯЩЕЕ

Всё настоящее
Без шума происходит.

Безмолвно плоды созревают.
Тихо падают листья с деревьев,
молча их покрывает снег.
В тишине замерзает озеро.
Как сон к нам приходит смерть.

Без слов происходит зачатие.
Солнце светит спокойно, без крика.
Никто не слышит, как падает снег.

Трава прорастает бесшумно.
Когда цветы раскрываются,
они не кричат об этом.

Всё настоящее
Без шума происходит.

РЕВНОСТЬ

Не имеет рукояти
Ревности калёный нож.

Всех сильнее – себя поранишь,
Коль в руке его сожмёшь.

ЖЕЛАНИЕ

Если была бы у каждого мать,
которая в смертный час
могла бы его обнять и отдать,
как в детстве случалось не раз,
какой бы лёгкой стала бы смерть.

РУДОЛЬФ БОРХАРДТ

С БАШМАЧКАМИ

Что хотим – то дать не в силах,
Дарим только то, что есть.
Дарим поцелуи милым,
А не мир огромный весь.

Дарим только лишь букет,
Если сада с домом нет.
Дарим книгу как замену
Вечной мудрости Вселенной.

То кольцо, что палец сжало,
Цепь, что шею обвивает,
(Без конца и без начала)
Космос нам напоминают.

И тебя молю я жарко:
Проницательнее будь.
Не смотри на вид подарка,
А пойми подарка суть.

Вот дарю я в знак поруки
Эту пару башмачков.
Вместо них под ножки руки
Подложить свои готов.

На руках ты, как в карете.
Понесу тебя я в ней,
Чтоб родные ножки эти
Не страдали от камней.

В номере

DE MORTUIS.	Фридрих Горенштейн	4
	Мина Полянская	29
	Карл Абрагам	39
	Марина Авербух	42
	Леонид Бердичевский	45
	Михаил Верник	51
	Марлен Глинкин	59
	Ольга Збарская	72
	Мальвина Зор	76
	Маргарита Их	78
	Яна Кутин	82
	Михаил Левин	92
	Марк Лурье	94
	Семён Лурье	96
	Станислав Львович	99
	Генриетта Ляховицкая	105
	Олег Никогосян	109
	Анна Осмоловская	114
	Анжелла Подольская	121
	Любовь Рейнгач	131
	Леонид Сысолетин	133
	Вера Фёдорова	136
	Георгий Хлусевич	141
	Альфред Ходорковский	148
	Марк Шейнбаум	152
	Генрих Шмеркин	155
	Давид Яновский	158
1. ПОЭЗИЯ И ПРОЗА.	Карл Абрагам	163
	Леонид Бердичевский	167
	Игорь Гуревич	170
	Генриетта Ляховицкая	172
	Марк Шейнбаум	176
	Алесь Эротич	180
	Альфред Ходорковский	193
2. ПУБЛИЦИСТИКА. ЭССЕИСТИКА.	Владимир Авербух	201
	Леонид Бердичевский	205
	Игорь Гуревич	210
	Олег Никогосян	215
	Альфред Ходорковский	217
	Марк Шейнбаум	220
	Давид Яновский	223
3. НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ.		



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ



До и После 8



Берлин • 2004